ШИХТА

ТУЛЬСКИЙ ОРУЖЕЙНЫЙ ДВОР

1704

РОМАН

Grew

Grew

Шихта. Тульский оружейный двор, 1704

«Автор»
2026

Grew

Шихта. Тульский оружейный двор, 1704 / Grew — «Автор», 2026

Николай Верещагин, инженер-металлург, умер в своём цеху между второй и третьей плавкой. Очнулся в 1704 году, в Туле, в теле подмастерья Пушечного двора — за два дня до приёмки пушек, которые не стреляют.В книге учёта стоит его подпись. Верёвка на дворе уже куплена. Руда, которую возят на двор, наполовину песок.Своих у него только руки, тридцать лет практики и понимание того, чего в этом веке ещё не знают. А за такое знание здесь принято отвечать перед попом.В книге есть: попаданец-литейщик, Тульский оружейный двор, Северная война, брак, донос, кабальный вексель, пленный свейский мастер, Митька без руки, Пётр I в конце.

© Grew, 2026
© Автор, 2026

Содержание

Глава 1 5
Глава 2 11
Глава 3 18
Глава 4 24
Глава 5 32
Глава 6 40
Глава 7 46
Глава 8 54
Глава 9 61
Глава 10 68
Глава 11 75
Глава 12 82
Глава 13 89

Grew
Шихта. Тульский оружейный двор, 1704

Глава 1

Чугун пахнет не так, как сталь.

Сталь — это сухость и окалина. А чугун пахнет сладковато, с горчинкой, будто в воздухе остался дым от сожжённого хлеба.

Этот запах я узнал раньше, чем открыл глаза.

Потом пришла жара. Она легла на лицо мокрым полотенцем. Я повернул голову, чтобы уйти от неё, и упёрся щекой в песок.

Песок был тёплый и влажный. Формовочная земля.

И тут я вспомнил.

Вторую плавку мы закрыли в девять тридцать. Третью ещё не задували: стояла пауза, минут двадцать, пока чистили лётку. Я сидел на перевёрнутом ведре у стены и пил воду из бутылки, и вода была тёплая, потому что стояла в цеху с утра.

Потом в груди сжалось. Не сильно. Я успел подумать про остеохондроз и про то, что надо дойти до врача. И тут же сжало второй раз — коротко и сильно, будто кто-то взял и отпустил.

Я сполз на пол. Не упал — сполз, держась за стену. Это было обидно: я всю жизнь считал себя крепким.

Надо мной висели фермы, в них гудели лампы, и одна мигала. Её надо было поменять ещё в мае. Я смотрел на неё и думал: «Дождалась».

Потом стало тихо.

И вот я лежу на песке, сердце в груди стукает ровно, гладко, как метроном, и ни капли боли нет.

Я решил, что ослышался. Что это не моё сердце. Что я всё ещё там, на полу, и всё это от кислородного голодания.

Только песок был настоящий. Он лежал под ногтями, был в складках какой-то чужой грубой рубахи, и в нём попадались крупинки, которые кололись.

— Никишка!

Я повернул голову.

Надо мной наклонился мужик с прожжённой бородой и красными руками. В руке у него был фонарь, и свет шёл снизу, отчего лицо казалось вырубленным из дерева.

— Ты живой. — Он присел на пятки. — Оно, батюшка, я думал, ты головой.

Я спросил, сколько пролежал.

— Часа два лежишь. Мастер велел тебя водой отлить, а я говорю: человек лежит, дай отлежится. Беда, коли застудишь.

Я попробовал сесть. Получилось не сразу: внутри всё было ватное, чужое, и голова шла кругом медленно, с оттяжкой.

Он спросил, как голова.

— Работает.

Голос был не мой. Моложе, выше, с хрипотцой, будто продрог.

Мужик перекрестился.

— Ты оклемался. Слава богу. А то лежишь белый, как в известке, и глаза закатил. Я воды плеснул — не помогло.

Я опустил глаза и посмотрел на свои руки.

Молодые. С коротко остриженными ногтями, с мозолью на среднем пальце, с зажившим ожогом на левой ладони, у большого пальца. Руки, которые прожили девятнадцать лет без меня.

Я пошевелил ими. Они послушались. Все пальцы по одному, как солдаты на поверке. Мизинец, безымянный, средний, указательный, большой. Пять на обеих.

Норма была настолько скучной и правильной, что сомнений не осталось: в бреду так не бывает.

— Ты чего? — мужик придвинулся. — Никишка, ты чего?

— Как меня зовут?

Он отшатнулся.

— Ты чего говоришь-то?

— Как меня зовут, — повторил я. Это прозвучало как приказ, и я услышал это сам, и понял, что так нельзя.

Он помолчал. Потом ответил тихо, будто за стеной спал человек:

— Никитой. Гавриловым. Ты ж Никишка Гаврилов, третий год при шихте.

Никита.

Имя легло ровно. Ни отторжения, ни холода — ничего. Просто ещё немного тошноты, и всё.

Я сел ровнее и огляделся.

Сарай был длинный, с низким потолком в саже и земляным полом, изрытым, как поле после боя. В стене — печь, и от неё шёл густой красный свет. У печи сновали двое, таскали мешки. У дальней стены стояли мехи — кожаные, в три слоя, с деревянными ручками, и на боку у них был шов, прошитый ремнём.

Я такие видел только в музее.

На стене висела икона, маленькая, тёмная, и лампадка перед ней горела так же ровно, как печь.

— Гордей. Имя пришло само. — Где у вас тут?..

Я не знал, что спросить. Вопросов было слишком много, и они толкались.

— Ты полежи, — Гордей подхватил меня под локоть. — Беда у нас, Никишка. Мне и говорить не хочется.

Я спросил, какая беда. Он оглянулся, будто в сарае кто-то стоял и слушал.

— За тебя подписали. Приёмку.

Я переспросил, что именно.

— Три пушки. Приёмка через два дни, а за тебя уж подписано: шихта твоя, закладка твоя. Ты же к шихте приставлен. А пушки, оно…

Он замолчал.

— Пушки не стреляют. Я не спрашивал.

Гордей перекрестился.

— Ты откель знаешь?

— Придумал, — ответил я.

И подумал: а ведь правда, откуда. Я не был в этом году. Я не знал этих людей. Я не знал, что тут литьё доверили девятнадцатилетнему.

Я просто знал, как это выглядит, когда литьё доверили девятнадцатилетнему.

— Вчера на пробе третью разорвало, — Гордей смотрел в пол. — Двоих посекло. Митьку, мальчишку, в бок зацепило. Лежит у Аксиньи, в горячке. Дохтура звали, да где ж его.

— А пушки?

— Первая бьёт. Только слабо, сказывают. Вторая бьёт, а по казне трещина. Третья… — Он махнул рукой и начал собирать с пола обрывки ремня, будто руки требовали дела.

Я встал. Меня качнуло, я опёрся на опоку — деревянный ящик под форму — и обжёгся о железный обруч.

Порядок работы я нащупал сам, не думая. Сначала смотреть. Потом спрашивать. В цеху всегда так: пока не увидел — не спорь.

Цех оказался меньше, чем казался лежа. Свод низкий, печь одна, и под у печи неровный: в одном месте металл подтекал и застыл лужицей.

Я спросил, где пушки.

— В сарае. Опломбированы.

— Свети.

Сарай для хранения стоял за цехом, и в нём пахло не чугуном, а сыростью и мокрой рогожей. Три пушки лежали на подкладках, длинные, с наплывами на стволе. Шестнадцатифунтовые, если я не разучился считать на глаз.

Я присел рядом с первой и положил на ствол ладонь. Он был шершавый, с наплывом у цапф, будто его облили воском и не убрали. Под пальцами шла мелкая рябь — след формы.

Молоток оказался у меня за поясом. Не помню, как он там оказался.

Я ударил по казённой части, у запала. Звук вышел глухой, дребезжащий, будто внутри пересыпали песок.

Я спросил, слышит ли он.

— Не слышу, — Гордей виновато пожал плечами. — Я формовщик. Я по этой части не…

— По колоколу должно звенеть. А тут горшок.

Я перевернул пушку и поднёс фонарь к излому у литника.

Излом был белый, ровный, как стекло, и по нему шла мелкая сыпь — точки, будто кто-то исколол металл иглой.

— Вот, — я показал пальцем. — Белый излом. Значит, чугун выстудили. Он стал твёрдый и хрупкий, его от первого выстрела разорвёт. А сыпь видишь? Это раковины. Их газом надуло, потому что форма была сырая.

— От воды, стало быть, — Гордей покивал. — Мастер тоже сказывает, от воды.

— От воды. И от того, что льют, не глядя, из чего.

Я взял со стола комок формовочной земли, растёр между пальцами. Земля была холодная, липкая, с крупным песком. Из такой формы надо сушить в печи сутки, а не на воздухе.

— Кто формы набивал?

— Я, — Гордей сжался весь, стал меньше. — Я, батюшка. Как велено.

— Плохо набивал.

— Так я…

— Не ты плохо. Земля плохая и сушить негде.

Он поднял на меня глаза и ничего не сказал.

— Покажи, из чего сыпали.

Мешок он принёс от стены, рогожный, перевязанный в горловине. Развязал, отогнул край.

Я высыпал на ладонь. Рудная мелочь, бурая, с рыжими блёстками, тяжёлая. И песок — светлый, крупный, вперемешку.

— Вот, — я ссыпал обратно, но горсть оставил. — Песок.

— Так оно с карьера идёт. Там глина, там…

— Это не глина. Это песок. — Я растёр горсть. — Смотри: он не липнет. Глина липнет. А песок — нет.

Гордей смотрел с сомнением и спросил, что с того.

— А то, что его в ведре четверть. Он не плавится. Он ест тепло. И потом ты полдня дуешь мехами, чтобы вышло три пуда.

— Ведро — оно и есть ведро, — Гордей упрямо мотнул головой, но уже тише.

— Хорошо, — я присел на корточки у мешка. — Считаем. Ведро — пуда три с половиной. Песку в нём — четверть, то есть пуд. Значит, из трёх с половиной пудов руды выходит два с половиной пуда чугуна? Нет. Выходит меньше. А в шихту ты кладёшь ещё уголь с породой.

— Кладём, — подтвердил Гордей. — С породой бывает.

Я спросил, сколько. Он ответил, что никто не считает.

— Вот и я о том.

Я вытер ладонь о портки. Песок остался на коже, светлый, как соль.

— Ты считаешь, — сказал Гордей вдруг с каким-то новым лицом, — как дьяк считает. У нас так не…

Он не договорил.

За спиной скрипнула дверь.

— Кто тут пушку колотит?

Голос был недовольный, но не злой. Так говорят люди, которые устали объяснять одно и то же.

Мастер Фрол оказался сухим и высоким, с руками кузнеца и лицом человека, который спит по четыре часа. За ним, придерживая дверь, стоял молодой подьячий в чистом кафтане, с чернильницей на поясе и с книгой под мышкой. Книгу он держал так, как держат щит.

— Ты, — Фрол шагнул в сарай. — Третий год при шихте. Третий год, щенок. А ноне три пушки в брак, двое покалечены, и в книге — твоя подпись.

Я встал с колен.

— Покажите книгу.

— Ерофей, — Фрол не обернулся. — Покажь.

Подьячего звали Ерофей. Он развернул книгу, держа её на весу, и стал читать вслух, ровно и нараспев, как читают в церкви:

— «Лета тысяча семьсот четвёртого, сентября в двенадцатый день, на Тульском оружейном дворе, при мастере Фроле Савельеве, заложено в печь на три ствола, шихты по старой мере…»

— Довольно, — сказал я.

— Не довольно, — Ерофей поднял брови. — Понеже тут ниже руку приложил урядник, что при сём был.

Бумага была плотная, с водяным знаком, чернила чёрные, ровные. Подпись стояла дважды, и обе — в конце записи о закладке. Мелкий разгон, завитушка на «ш», нажим на концах.

— Это не мой почерк.

Ерофей усмехнулся и закрыл книгу с громким хлопком.

— А ты напиши.

— Напишу. — Я взял со стола уголёк. — Только кто мне, холопу, поверит против книги? Ты и не поверишь.

— Не поверю, — согласился Ерофей. — Ибо книга есть книга.

— Тогда я не про подпись. Я про запись. Тут написано «по старой мере». А меры не было никакой. Было ведро.

Фрол прищурился.

— Ты что несёшь?

— Мастер, скажи мне, сколько пудов руды ты закладывал в печь?

Он молчал.

— По ведру — это сколько? Ведро сухой руды и ведро мокрой — одно и то же? Или какое набрал, такое и в печь?

— Ты почто людей смущаешь? — Фрол шагнул ко мне, и голос стал тише.

— Я не смущаю. Я спрашиваю. В ведре может быть руда, а может быть песок. Я вчера видал, как насыпали.

— Вчера тебя тут не было, — сказал Гордей за спиной.

Я обернулся. Он стоял у стены, прижимая к груди фонарь, и смотрел на меня, как смотрят на человека, который проговорился.

— Был, — сказал я. — Лежал. Слышал.

— Слышал, — повторил Фрол.

Он смотрел на меня долго. Я видел, как у него работает лицо: он считал. Не деньги — людей, сроки, ответ.

— К шихте у меня к тебе доверия нет, — сказал он.

— К шихте у тебя и не было. Ты лил по ведру и подпись ставил не глядя.

Фрол взял меня за ворот и притянул к себе. Близко. Я увидел, какие у него светлые ресницы и как дёргается жилка под глазом.

— Ты мне тут людей не учи, — сказал он очень тихо. — Они в этом цеху дольше твоего. А ты подмастерье.

— Подмастерье, — согласился я.

— Вот и молчи.

Он отпустил ворот. Гордей вздохнул, и вздох вышел громким.

— Сказывай, — Фрол не двинулся с места. — Что надо?

— Первое: мера по весу, а не по ведру. Второе: известь в шихту. Третье: формы сушить в печи, а не под навесом. Четвёртое: литник резать по расчёту. Пятое: от каждой плавки — свидетель.

— Свидетель, — Ерофей фыркнул. — Это кто ж такой?

— Отливка. Маленькая, из той же шихты, в ту же минуту. Она и есть свидетель: у неё тот же излом, что у ствола. Коли ствол лопнул — по свидетелю видно, из-за чего.

Фрол перевёл взгляд с меня на пушку, с пушки на излом, с излома — на мою руку с молотком.

— Ты кто? — спросил он.

Не «ты что несёшь». Не «где набрался». Просто: «Ты кто?»

И я стоял, девятнадцатилетний, с чужими руками, и не мог ответить.

За дверью протопали шаги, лязгнуло железо. Дверь толкнули снаружи так, что она отлетела к стене.

Вошли двое с рогатинами и третий — молодой, в кафтане не по росту, с плетью на боку.

— Гаврилов? — спросил тот, что с плетью.

— Я.

— По указу приказа — к дьяку. Ноне же.

Гордей отступил к стене и начал шептать.

Я спросил, за что.

— За пушки, — молодой ухмыльнулся. — За что ж ещё.

Фрол стоял и молчал. Он мог сказать слово. Одно слово — и меня бы не тронули до свету. Я это видел по его лицу. Он тоже видел.

Он не сказал.

— Мастер. Мне нужна ночь.

— Ночи у тебя нет.

— Тогда дай печь до свету.

Рогаточный взял меня за плечо.

— Погоди, — я не двинулся, и это оказалось труднее, чем я думал, потому что тело хотело идти. — Мастер, я не пушку прошу отлить. Переплавить брак и отлить пробную чушку. Малую, пудов на пять, из новой шихты.

— И что тебе чушка?

— По её излому видно, права ли моя шихта. Если излом рябой, как у этой пушки, — я сам скажу дьяку, что брак мой. И про Ерофея не скажу ни слова.

Ерофей прищурился, но промолчал.

— А ежели излом серый, мелкий, без сыпи, — продолжал я, — тогда ты идёшь к дьяку и говоришь одно слово: «холодный». Это значит, что чугун не выстуживали и литник не резали сухим. И что в книге писали не то, что делали.

— Час тебе, что ли? — спросил молодой с плетью.

— До свету.

Фрол молчал так долго, что я услышал, как за стеной гудит дутьё.

— Подвода будет к свету. До свету они на моём дворе, и я за них отвечаю. — Он кивнул на рогаточных. — А после свету не моя забота.

— То есть до свету я ваш, — сказал я.

— До свету ты мой, — согласился Фрол. — А там как выйдет. — И печь? — спросил я.

— Печь дам. Но сперва скажешь, откуда знаешь, каким излом быть должен.

— Скажу, — ответил я и подумал, что это самое глупое обещание в моей второй жизни.

Рогаточный дёрнул меня за плечо.

— Пошли.

— Известь, — я обернулся к Гордею. — Если на дворе есть известь — неси в цех. И баню протопи. — Баню? — переспросил он.

— Мне нужна известь. И посуда, которую не жалко. Если извести нет — пойдёт яичная скорлупа.

Один из рогаточных прыснул. Ерофей смотрел на меня с новым интересом, как смотрят на цену.

— Ведите, — сказал Фрол.

Меня вывели во двор. Ночь была чистая, холодная, и над печью стояло красное зарево, ровное, как от углей в яме.

Я шёл и считал шаги. Двадцать до ворот, потом мостки, потом слобода. Старая привычка: считать шаги, пока не отпустит.

Не отпускало.

— Никишка! — крикнул Фрол от сарая.

Я обернулся.

— Известь будет, — сказал он. — И скорлупа будет. Гордей соберёт.

— Спасибо, мастер.

— Не благодари. — Фрол помолчал. — Отольёшь — поговорим. Не отольёшь — я сам скажу, кто ты.

Он сказал это тихо. Рогаточные услышали, и тот, что постарше, глянул на меня иначе, чем утром.

Глава 2

Подводы не было.

Меня вывели за ворота и остановили посреди улицы, и старший рогаточный долго всматривался в темноту, где горел один фонарь. Молодой, с плетью на боку, сплюнул под ноги и сказал, что за плеть ему платят не за то, чтобы мёрзнуть на чужом дворе.

— Стоим, — старший не двинулся. — До свету.

Я считал шаги, чтобы не считать время: двадцать до ворот, потом мостки, потом слобода и ещё двадцать. На сорок первом сбился и начал сначала.

Холод шёл от земли, и в левом сапоге гулял ветер, потому что сапоги были чужие и велики.

— Мастер сказал, до свету он на моём дворе, — старший кивнул на сарай. — Вот и сиди.

У печи теплее, сказал я. Он посмотрел на меня без злобы, устало, как смотрят на чужую работу, и спросил, работать я собираюсь или спать до утра под забором. Я сказал, что работать. Тогда он прислонил рогатину к столбу и велел идти, только чтоб видел.

В сарае было темно, и только у печи лежал красный свет. Гордей сидел на мешке у стены и не спал, а рядом на рогоже лежал мальчишка и дышал часто, коротко.

— Тише, — Гордей поднял руку. — Только заснул.

Мальчишка открыл глаза. Не спит. Лицо у него было серое, рубаха на боку оттопыривалась от тряпья, и он держал бок ладонью, будто боялся, что оттуда что-нибудь выпадет.

— Это Митька. Ты его не знаешь.

Сказал и сам услышал, что сказал.

— Помню. В бок зацепило.

— Не в бок, а в мясо. — Митька сел, держась за стену здоровой рукой. — В бок — это в ребро. А у меня мясо.

Он хмыкнул и всё-таки лёг, а Гордей рассказал, что мастер велел пустить и велел, чтобы до свету я был тут. Что будет после свету, он не сказывал и, судя по лицу Гордея, сам ещё не решил.

Из угла принесли кадку и откинули рогожу. В кадке лежала известь, серая, комьями, и от неё шёл сырой запах, как от погреба.

— Из бани, которой стены белили. Полкади, больше нет.

Я взял комок и сжал в кулаке: он развалился, и на ладони осталась мокрая пыль. Сырая известь годилась не хуже сухой, только её надо было прогреть, иначе она несла в печь воду, а вода в печи давала газ.

Митька подал лукошко с яичной скорлупой, белой и ломкой, с налипшей грязью. Аксинья дала за кашу и велела передать, что каша с неё. Я велел передать, что каша моя, и Гордей тихо засмеялся в бороду.

Печь стояла тёмная, и от кожуха тянуло холодом, будто внутри был камень. Левый мех дышал швом: ремень протёрся до дырки, и через неё уходило дутьё.

— Сперва скорлупа. Горшок есть?

Горшок нашли треснутый, с трещиной по краю. Я поставил его на угли у лётки и навалил скорлупы доверху, а Митька сел рядом на пятки.

Митька придвинулся к горшку и спросил, зачем скорлупу в огонь. Я ответил: в ней извести нет, а после огня будет.

— Из яйца? — Он переспросил так, будто я сказал что-то непристойное.

— Из скорлупы. Известь — это камень, который пережгли.

Митька обиделся и сказал, что тогда взяли бы камень.

Я объяснил, что камень в бане весь вышел, а скорлупы на дворе сколько угодно, потому что двор ест каждый день. Скорлупа не горела: она чернела, потом белела по краю и трескалась, как сохлая краска на печи.

Гордей смотрел мне через плечо, держа фонарь обеими руками.

— Белеет, — сказал я Гордею. — Значит, держим ещё.

Через полчаса я вытащил горшок, и он развалился в руках по трещине, а скорлупа высыпалась на пол белая и лёгкая, как сухая штукатурка. Толочь взялся было Митька, но Гордей отобрал у него пест: с таким боком только песта и не хватало.

Пест я велел вернуть и толочь левой рукой.

Он толок и поглядывал на меня из-под бровей, а растёртая скорлупа была как мука, только злее: она щипала в пальцах, там, где осталась старая ссадина, и оставляла на коже едкую белую пыль.

— Сколько вышло в фунтах?

Гордей развёл руками: кто ж её вешал. Безмен нашёлся на полке, между клещами и обрезком ремня, — железный прут с крюком, гирька на шнуре, зарубки по всему пруту. По нему, как говорил Гордей, десять лет принимали мешки с рудой.

Значит, десять лет и неверный. Гордей не нашёл, что возразить.

Я принёс ведро воды и повесил на крюк. Гирька пошла по пруту и встала на зарубке, где было написано «двадцать шесть».

Я сказал, что в ведре тридцать фунтов, и спросил, всякий ли это знает. Гордей ответил: всякий, кто вешал.

— А на пруте двадцать шесть.

Гордей подумал и сказал, что, может, ведро не то, а ведро было казённое и с клеймом. Я наскрёб ножом новую черту там, где встала гирька, и объяснил: ведро воды тридцать, полведра пятнадцать, четверть семь с половиной, а всё остальное считаем от этой черты.

Он смотрел на мою зарубку так, будто она могла укусить.

— Мастер узнает — осерчает.

— Нет. Обрадуется.

— Мастера ты не знаешь.

— Знаю. Он считает. Просто считает не то.

Мерных гирь у меня не было: было ведро, ремень, нож и черта на железном пруте. Этого хватало, чтобы считать вслух и записывать мелом на опоке.

— Руда три пуда двадцать. На пуд руды пять фунтов извести, значит восемнадцать. — Я поглядел на кадку, потом на лукошко. — Извести у нас семнадцать. Руда пойдёт три пуда.

Гордей спросил, отчего не три с половиной.

— Иначе песок не съест.

— Какой песок?

— Тот, что в руде. — Я взял горсть из мешка и растёр на ладони, и на коже остались светлые крупинки. — Он не плавится, он ест тепло и уходит в шлак. Известь его оттуда вытягивает.

— Шлак я видал. У нас он чёрный, как смола.

— И будет чёрный. В нём песок.

Митька перестал толочь.

— А если извести не хватит?

— Шлак станет густой, железо в нём застрянет, и тогда ни чушки не будет, ни ночи, ни разговора с дьяком.

— Сходи в баню, поищи. Только боком не поворачивайся.

Он ушёл и вернулся с двумя кусками, серыми, как мел: стены белили давно, осталось вот это. Я велел класть в счёт и записал мелом ещё две палочки.

Дальше был уголь. Он лежал в углу кучей пудов на двенадцать, и куча была не однородная: чёрное, чёрное с рыжим, серое.

— Породу надо выбрать.

Гордей не понял, какую породу я имею в виду.

Я взял кусок, взвесил на руке и стукнул о другой. Стукнул глухо, как по кирпичу.

— Слышишь? Уголь звенит, а это камень. Вон та треть в печь не пойдёт.

— Так деды клали.

Гордей выпрямился, и стало видно, как у него ходит кадык.

— Деды не хуже меня лили, и руду им возили другую. Я подождал, пока он договорит.

— Возможно. А нам возят эту.

Он постоял, потом сел на корточки рядом и стал выбирать: брал кусок, взвешивал, откладывал. Руки у него были красные, в трещинах, и работали быстрее моих.

— Крупный колоть? — Гордей кивнул на кучу.

— Колоть. Мелкий горит ровно, а крупный в середине остаётся сырой.

Митька колол уголь на чугунной плите и складывал в корзину. Он клевал носом, но не останавливался, и я дважды поймал его на том, что он спит стоя, с молотком в руке.

Я сказал, что он клюёт.

— Это я так думаю, — Митька ответил с достоинством.

Породы вышло полкорзины, и Гордей отнёс её к стене, будто она ещё могла пригодиться. Угля отобралось девять пудов, и я велел класть только их, а больше в печь не бросать.

— Девять? Деды по два клали.

— Деды лили из руды, где песку меньше, а чем больше песку, тем больше угля. — Я уже говорил это и слышал, что повторяю.

Гордей взял корзину и пошёл: девять пудов таскать ему одному.

— Ствол рубить? — Гордей кивнул на обломки в углу.

— На четыре куска, под руду. Он даст металл, а руда с известью пойдёт сверху.

Гордей рубил зубилом и молотком, и куски отлетали к стене, тяжёлые, с нагаром по краю. Песок был и в руде, и в этом нагаре, а извести было меньше, чем надо на одну руду.

Печь задували медленно: сперва щепа, потом мелкий уголь, потом дутьё в четверть силы, чтобы кладка не треснула. Я стоял у глаза, смотрел, как на угле проступает синее, и ждал, когда оно побежит по всему поду.

Я велел Митьке дуть ровно и не частить.

— Умею.

Митька взялся за ручку и пошёл качать. Мехи скрипели, и в печи гудело глухо, как в бочке.

Из шва на левом мехе пошла серая пыль, тонкая, как из мешка с мукой. Я успел это увидеть и не успел ничего сказать: шов разошёлся на ладонь, и дутьё осело сразу, будто кто-то прикрыл печь сверху.

— Стой! — Гордей бросился к меху и прижал шов руками. — Держу! Шило давай.

Я нашёл шило и обрезок сыромятного ремня, и мы взялись втроём: Гордей держал, Митька светил, а я прошивал шов через старые дырки, стежок за стежком.

Гордей спросил, не залить ли дёгтем.

— Дёготь у горячего потечёт. Глину с золой.

Глина в яме была мокрая, и это было к лучшему. Я обмазал шов глиной с золой, присыпал сверху сухой золой, и пальцы стянуло сразу, глина сохла на них корой.

Дуй в полсилы, сказал я, и слушай шов.

Митька качнул. Мех вздохнул, и шов держал.

Печь пошла к третьему часу. Уголь дымил так, что в сарае стоял угар, и Митька кашлял в рукав, не отпуская ручки. Красное в глазу стало белым, от сарая повалил жар, от которого сохли губы и слезились глаза, а на полу у лётки сохла и трескалась пролитая глина.

— Смотри за лёткой. Как потечёт — скажи.

Гордей спросил, потечёт ли. Потечёт, сказал я.

Я сел на опрокинутое ведро у стены и вытянул ноги. Спина не разгибалась, на правой руке было два свежих ожога, и старый, на левой ладони, ныл от жара. И тут я поймал себя на том, что ищу глазами часы: на той стене, где у меня в цеху висели часы, здесь висела икона, и время приходилось брать из неба в дверном проёме.

— Никишка. Ты откуда такой? — Гордей не повернул головы. — Ты ж три года при шихте. Я тебя знаю.

— А говоришь ты как приказный.

— Приказные считают. И я считаю.

Он помолчал и сказал, что приказные воруют. Я ответил, что я не приказный, и он это принял, потому что спорить ему было некогда: печь требовала угля.

— Потекло! — крикнул Митька.

Я встал так быстро, что в глазах потемнело. У лётки набухала светлая капля, за ней вторая, и по жёлобу пошло густо, как каша.

— Изложницу!

Изложница стояла на песке, сухая и прогретая. Струя ударила в неё и зашипела, искры пошли по полу, и одну я поймал на кисть.

— Не дыши над ней. Отойди и смотри сбоку.

Металл шёл ровно и светло, без пены. Пены не было — вот что я увидел первым, потому что вчерашний чугун шёл с пеной, будто в нём варили мыло.

— Идёт хорошо, — Гордей смотрел в глаз печи.

— Пока хорошо.

Чушка набралась и села. Я обстучал изложницу с боков, чтобы металл не взялся коркой у стенки, накрыл рогожей и присыпал края песком.

— А свидетель?

Я налил три узкие формы, в палец толщиной, из того же металла и в ту же минуту. Одну поставил стыть на песок, другую в золу, чтобы стыла медленно, третью оставил на сквозняке у двери.

Митька спросил, почто три.

— Одна стынет быстро, одна медленно, одна как выйдет. Утром сломаем все три и посмотрим, где правда.

Он задумался и сел на пол, а Гордей подбросил угля и прикрыл печь. Стало тише, и за стеной прокричал петух, тонко и хрипло, будто простуженный.

Светает, сказал Гордей. Рано, возразил я.

— По петуху рано, а по небу пора, — ответил он.

Я вышел во двор. Небо на востоке было серое с розовым, над слободой стоял дым, ровный, как частокол, и на колоде спал рогаточный, привалившись к столбу, с рогатиной на коленях.

Я вернулся и сел у печи. Гордей спал сидя, Митька спал лёжа, на здоровом боку, и во сне держал руку на повязке. Чушка стыла. Я считал до ста, потом ещё раз и ещё, и с каждым разом она отдавала тепло всё неохотнее.

Потом я тронул её ладонью: тёплая. Перевернул ломом, обстучал с боков и посмотрел на торец.

Торец был бел, ровен и матов, без стеклянного блеска и без сыпи. Я провёл по нему ногтем, и ноготь не взял.

— Гордей. Вставай.

Он подошёл заспанный, и я сунул ему в руки молоток. Он ударил, и чушка не поддалась. Ударил сильнее, откололся кусок, и на изломе было то же: белое, ровное, мелкое, как крупа.

— Слышишь, как звенит? Это не горшок. — Я стукнул по отколотому куску ещё раз. — А теперь принеси вчерашний.

Он принёс обломок от разорванного ствола и ударил. Звук вышел глухой, дребезжащий, будто внутри пересыпали песок.

Было и там, и тут, да не одно и то же. У старого излома шла сыпь, точки, будто иглой искололи, и по краю лежал стеклянный блеск: он был белый, ровный, как мороз на стекле. У нового — серый, мелкий, без сыпи.

— Ты ж сказывал, белый — худо.

— Я сказывал: стекло. Вот стекло. — Я показал на старый излом. — А это серый, мелкий. Такой ствол от первого выстрела не лопнет.

Гордей не понял, что с того.

— То, что его не выстудили и газом не надуло. Ствол из такого не лопнет от первого выстрела.

Митька подошёл, шаркая, взял обломок и взвесил на ладони. Тяжёлый. Я сказал, что чугун и должен быть тяжёлым, а тот, вчерашний, легче, потому что рыхлый. Митька взял оба, сравнил на руках и кивнул.

Свидетелей я сломал по одному. Тот, что стыл на песке, дал серый и мелкий. Третий, с холодного сквозняка, дал белый и крупный, и я поглядел на него дольше.

Гордей спросил, годится ли этот.

— Этот другой. Быстрое стынет белым, медленное серым. Значит, лить надо в сухое и рогожей сразу не накрывать.

Гордей не понял, но кивнул.

Фрол пришёл, когда солнце поднялось над сараем. Один, без рогаточных, без Ерофея, без фонаря. Кафтан на нём был тот же, что вчера, и лицо тоже — лицо человека, который не спал.

— Ну, — сказал он с порога.

Я положил обломок ему на ладонь. Он поглядел на излом, потом на меня, потом опять на излом.

— Серый, да мелкий. Стукни костяшкой.

Фрол повертел обломок, стукнул костяшкой, и звук пошёл чистый.

— Сказывай. Скорлупа отчего?

— В ней известь после огня. Известь ест песок и уводит его в шлак.

— И всё?

И всё, сказал я, и он больше не спрашивал.

Фрол спросил про руду.

— Руда по весу: три пуда двадцать. Уголь девять. Известь семнадцать фунтов.

Он посмотрел на кадку: этого мало.

— Мало, — согласился я. — Поэтому и льём не так, как вчера, а как выходит.

Он помолчал, потом спросил про мехи.

— Рвались. Зашил я сам.

Фрол потрогал шов, поглядел на глину и сказал, что глина отвалится.

— Отвалится — замажу.

Он встал, прошёлся по сараю, заглянул в печь, потрогал лётку, посмотрел на чушку, которую мы уже выволокли на рогожу.

Он присел у чушки и спросил, пять ли пудов.

— Не ровно. Четыре пуда тридцать пять. Остальное в угаре, в литнике и в шлаке.

— Где шлак?

Я показал ему корку у лётки, светлую, с зелёным отливом. Фрол взял кусок, повертел и бросил.

— Прежде шлак был чёрный.

— Прежде в нём был песок.

Он сел на опоку и положил руки на колени.

— Никита.

— Что.

— Ты кто?

Он спросил это так же, как вчера, без нажима, и так же, как вчера, я не нашёлся, что сказать сразу.

— Я не тот, кем меня считают.

— Это я и сам вижу. — Он не отвёл глаз. — Кто?

— Больше не скажу.

— Бес?

— Нет.

— А кто?

— Человек, который умеет лить.

Фрол усмехнулся одним углом рта.

— Такого не бывает: умеют все, а хорошо — единицы.

— Вот и я единица.

Он долго молчал. За стеной застучали, пошли первые шаги по двору, и кто-то крикнул на кузню.

— Отца твоего я знал. Кузнец посадский, тихий. Он так не умел и не пытался.

— Он умер.

— Умер. — Фрол кивнул. — А ты через три года заговорил про флюс.

Он смотрел на меня и считал, и я видел по лицу, что считает он не деньги, а людей и сроки.

— Я тебя вчера мог не пустить. Сидел бы сейчас у дьяка на цепи.

— Могли.

— А почему не пустил?

— Потому что вам нужны пушки.

— Пушки мне нужны. И ты мне нужен. По отдельности.

Он встал и подобрал обломок с рогожи.

— В приказ я пишу, что излом чистый. Дьяк спросит, кто лил, — скажу, что лил мастер.

Мастер Фрол, сказал я, и это прозвучало как подпись.

— Мастер Фрол, — согласился он и поглядел на меня. — А ты будешь при печи, и подпись в книге будет твоя. Кто отвечает, тот и подписывает.

— А если брак?

— Тогда и ответишь.

Я понял, что он делает, и он понял, что я понял.

— Мастер. Вы ведь знаете, что я не Никита.

— Знаю, — сказал Фрол спокойно. — Сказать кому — не скажу. Не потому, что добрый, а потому, что мне за пушки отвечать, а не за твою душу.

— И что дальше?

— Дальше работа. — Он пошёл к двери и остановился. — Одно запомни: Ерофей про тебя уже спрашивал. Он человек Козьмы, а Козьма человек денежный.

— И?

— И ты ему не говори ни про известь, ни про скорлупу. Скажешь — я тебя сам сдам. Не со зла, а чтобы двор не закрыли.

— А если спросит?

— Скажи, что мастер велел. Больше ничего.

Он отворил дверь, и утро вошло в сарай белым и холодным, так что стало видно, сколько на полу гари.

— С этого дня ты работаешь на меня. И отвечаешь головой.

— За что?

— За всё, что выйдет из этой печи.

Он вышел. Я слышал, как за воротами стукнула подвода.

Глава 3

Подвода стояла у ворот. Рогаточный сидел на ней, свесив ноги, и грыз семечки.

— Гаврилов. Садись.

Я сказал, что пойду пешком. Он ответил, что велено доставить, а как — не сказано.

Он подвинулся, освобождая место. Я не сел. Он пожал плечами и бросил шелуху в колею.

Митька выбежал за мной, придерживая бок.

Я напомнил, что ему велено лежать.

— Я полежу. — Он пошёл рядом. — Я не бегу, я иду.

— Иди в сарай. — Я остановился. — И запомни, что видел. Тебя спросят — скажи: излом чистый, без сыпи. Слово в слово.

— Скажу.

— Не «скажу», а как я сказал.

— Излом чистый, без сыпи. — Он повторил это шёпотом, будто молитву, и попятился к воротам. — А ты вернёшься?

— Вернусь.

Я сказал это и сам не поверил. Обломок лежал у меня за пазухой, тёплый, тяжёлый, и это было всё, что у меня было. Ворота остались за спиной. Я шёл и считал шаги: сто до поворота, потом мостки, потом мост. На сорок первом сбился и начал сначала.

Улица шла под гору, к пруду. Над водой стоял туман, и в нём стукали молоты — глухо, будто из-под воды. Баба несла воду на коромысле, и вода плескалась через край. У кузни кто-то бил по железу коротко и с перерывом, будто проверял, отзовётся ли.

Приказная изба стояла за прудом, у моста. Низкая, в две комнаты, с крыльцом и с полотняным навесом, под которым стоял стол.

В горнице пахло чернилами, пылью и кислой кожей. На полке лежали свитки, перевязанные лыком, и на верхнем слое пыль стояла так ровно, что к нему не притрагивались годами.

Двадцать лет я ставил подпись под актами приёмки. В трёх местах, одной и той же ручкой, которая всегда текла. Один раз я не подписал — партия ушла в брак, и это стоило мне трёх недель и объяснительной на две страницы. Здесь за подпись отвечали кнутом.

На крыльце сидел Ерофей и чинил перо.

— Пришёл, — он не поднял глаз. — А я думал, тебя привезут.

— Я сам.

— Гордыня. — Он подрезал перо, подул на кончик. — Дьяк в горнице. Ступай, тебя ждут.

Дьяк сидел за столом, и перед ним лежала книга. Он держал руки поверх переплёта, как держат на Евангелии, и от этого казался не злым, а усталым.

Степан Ильич Кузьмин. Пятидесяти пяти лет, седой, в суконном кафтане, тёплом не по погоде. На обшлаге — чернильное пятно, старое, застиранное.

— Гаврилов Никита, — дьяк поднял голову.

— Я.

— Три ствола. Двоих покалечило. В книге твоя рука.

— Не моя.

— Книга говорит — твоя.

— Книга говорит: «по старой мере». А старой меры нет. Есть ведро.

Дьяк поднял брови и поглядел на дверь, будто искал, у кого спросить.

— Ведро и есть мера. — Дьяк помолчал.

— Ведро — это тара. Мера — это вес. В одно ведро войдёт три пуда сухой руды, в другое — четыре мокрой. И оба будут ведром.

— Ты мне меру не переиначивай. Мера от дедов.

— Дедову меру я не трогаю. Я прошу писать число. — Я вынул из-за пазухи обломок и положил на книгу. — Вот. Три пуда двадцать фунтов руды. Девять пудов угля. Семнадцать фунтов извести. И ни одного числа в книге.

Дьяк посмотрел на обломок, но трогать не стал.

Он спросил, почто я положил обломок на книгу. Чтобы видел.

— Я и так вижу. — Он всё-таки взял обломок, повернул к окну. — И что?

— То, что в книге этого нет. В книге написано «по старой мере». По такой записи нельзя ответить, отчего лопнул ствол.

— А что мне с ответа? — Дьяк положил обломок на стол, аккуратно, чтобы не стукнул. — Мне из приказа прислали вопрос. Мне надобен ответ, кому отписать.

— Отпиши правду.

— Правда — она не отписывается. — Он сказал это без нажима, как говорят о погоде. — Правду в приказ не пошлёшь. Пошлёшь бумагу.

— А ты пробовал?

Он поглядел на меня так, будто я спросил, пробовал ли он вешаться.

— Двадцать шесть лет пишу. Пробовал. — Он помолчал. — Чего ты от меня хочешь?

— Чтобы двор лил. А не отписывался.

Ерофей вошёл и встал у стола с чернильницей наготове. Дьяк кивнул ему, и Ерофей раскрыл книгу на закладке.

Я успел поглядеть назад, на прошлые листы. Их было много. Записи шли одна под другой, ровные, как борозды, и все до единой были словами. «Заложено по старой мере». «Вышло по осмотру». «Явилось годно». Ни пуда, ни фунта, ни одного числа, кроме дня и года.

Сорок лет двор отвечал словами на вопросы, на которые словами не отвечают.

— Читай.

— «Лета тысяча семьсот четвёртого, сентября в двенадцатый день, на Тульском оружейном дворе, при мастере Фроле Савельеве, заложено в печь на три ствола шихты по старой мере…»

— Довольно.

— Не довольно, — Ерофей поднял палец. — Понеже ниже руку приложил урядник, что при сём был.

— Двенадцатого дня я лежал без памяти. В сарае, на полу. Гордей меня водой отливал.

Дьяк напомнил, что Гордей — мой человек.

— Мой. А подпись не моя.

Ерофей усмехнулся и подвинул ко мне перо.

— Напиши.

Перо было лёгкое, обгрызенное у кончика, и держать его пришлось не так, как я привык. Рука была чужая. Буквы вышли крупнее, чем я хотел, и «Г» повело в сторону.

Я написал на краю листа: «Никита Гаврилов».

Ерофей посмотрел на лист, потом в книгу, потом опять на лист. Перо он забрал сразу.

— Почерк — не улика. — Ерофей отвёл глаза. — Мало ли кто как пишет.

— Мало ли. А ты погляди, каким почерком положена запись, и каким — строки над ней.

Ерофей наклонился. Почерк и правда был другой: мельче, круче наклоном, и вся запись лежала у самого сгиба.

— Чернила поверх, — Ерофей понизил голос. — И то не улика.

— Не улика. А спросить можно.

— Спросить можно, — согласился Ерофей и поглядел на меня поверх книги. — Только спросят-то тебя.

Дьяк постучал пальцем по столу — раз, другой, третий, будто отсчитывал.

— Кто закладку чинил? — спросил он.

Я сказал, что не я. Дьяк хмыкнул: это он видит и без меня. Потом помолчал. — Тебя в тот же день искали с рогатиной. Кто закладку чинил, тот знал, что тебя не будет.

Он сказал это так же ровно, как всё остальное.

— Пиши, — велел он Ерофею. — «Гаврилов Никита руки не приложил, а шлётся на свидетеля Гордея, формовщика».

Ерофей писал и приговаривал вслух, потому что иначе не умел:

— «…а о том, откуда Гаврилов знает про песок и про стыть, не объяснил. Того ради надлежит спросить особо».

Он поднял на меня глаза. Я не отвёл своих.

— Спросишь — отвечу.

— Спрошу. — Ерофей поставил точку. — А ты уж больно складно говоришь для подмастерья.

— Мастер велел молчать.

— Мастер много чего велит.

Дьяк взял у него книгу, подул на запись и сыпнул из песочницы. Песок лёг на чернила серой пылью, и я вдруг подумал, что этот песок и тот песок — одно слово и разное дело. Этим присыпают, чтобы буква не расплылась. Тот кладут в печь, и он ест тепло.

— Мне из приказа велено стволы, — дьяк тронул переплёт. — А я привезу три дырки и одного мальчишку. Мне за это что будет?

— Тебе за это будет книга. — Я показал на обломок. — В которой написано, отчего дырки.

Он спросил, кто их написал. Я сказал: тот, кто руду возил.

Дьяк откинулся на спинку. Я видел, как он считает — не правду, а листы. Сколько бумаги, чья подпись, кому отписать, чтобы самому не сесть.

— Ты мне Козьму не трогай, — сказал он.

— Я его и не трогаю. Я его взвешиваю.

В дверях стоял Фрол. Я не слышал, как он вошёл, и не знал, сколько он тут стоит.

— Фрол Савельич. — Дьяк повернул голову. — Твоё слово.

— Пиши, что он говорит. — Фрол не двинулся с места. — Пушки мне надобны.

Дьяк спросил, отвечает ли за меня мастер.

— Я за печь отвечаю. А за подпись он сам.

Дьяк усмехнулся одним углом рта и велел Ерофею писать дальше. Ерофей писал долго, высунув язык от старания.

— «…того ради повелеваю впредь писать в книге сей числом: сколько руды, сколько угля, сколько извести, сколько вышло, кто закладывал и кто при том стоял».

— И свидетеля. — Я подвинул обломок к нему. — От каждой плавки — отливку. Малую, из той же шихты, в ту же минуту.

— Чушку в книгу не вложишь.

— Тогда впиши, где она лежит.

Дьяк помолчал, потом кивнул. Ерофей дописал: «…а свидетеля хранить при книге, в сарае, на полке».

— Приёмку беру на себя, — дьяк встал. — В четвёртом часу буду на дворе, и приёмка при мне. А тебя до тех пор не тронут.

Я попросил записать и это. Дьяк ответил, что не пишется.

— Всё пишется, коли перо есть.

Дьяк фыркнул — первый раз за утро — и всё-таки кивнул Ерофею.

За окном заржала лошадь. Потом вторая. У крыльца, не дожидаясь, пока кто-нибудь выйдет, встали два воза, и во дворе стало тесно.

Козьма Пятый сошёл с воза грузно, но легко, как сходят люди, привыкшие, что их ждут. Енотовая шуба распахнута, шапка набок, сапоги сафьяновые, борода подстрижена ровно. От него пахло мёдом и лошадью.

— А вот и наш страдалец! — крикнул он ещё от колеса. — Живой. Мне сказывали, тебя уж кнутом…

Я ответил, что не сказывали. Он ничуть не смутился: ну, не сказывали, а он всё одно ехал и думал — не дай бог.

Он подошёл, взял меня за плечи и повернул к свету, будто осматривал товар.

— Худой. Ей-богу, худой. Аксинья тебя не кормит?

— Кормит.

— Плохо кормит, — решил Козьма и обернулся к своим. — Неси.

Возчик снял с воза бочонок и поставил у крыльца.

— Двору — мёд. Нонешний, липовый, не прошлогодний. — Козьма вытер руки о шубу. — А тебе, Степан Ильич, арбуз. Астраханский, с бахчи. Нонешние сладкие, страсть.

Арбуз выкатили из рогожи — большой, полосатый, с обочины обтёртый. Дьяк посмотрел на него и вздохнул.

— Ты бы, Козьма, не носил.

— Отчего ж не носить. Я от чистого сердца.

Ерофей убрал арбуз под стол, чтобы не мешал книге.

— А тебе, милый, вот. — Козьма обернулся ко мне, и из-под рогожи вышли сапоги. Новые, чёрные, с ровной строчкой. — Ногу дай.

Я не двинулся.

— Ногу дай, не укушу.

Я поднял ногу. Козьма приложил сапог к подошве, прищурился, покачал головой.

— Мал. Ну, ничего. Разносятся.

Сапоги были малы на палец, я это увидел по носку. Последний раз я покупал сапоги дочке, ей было четырнадцать. Мы взяли на размер больше и подкладывали в носок газету, чтобы не жало, пока нога растёт. Она носила их два года и стёрла до белых швов.

— Благодарствую.

— Носи на здоровье. — Козьма хлопнул меня по плечу. — А главное-то не в сапогах.

Возчики откинули рогожу на втором возу. Под ней лежала руда, крупная, с рыжим блеском. Колёса ушли в грязь по ступицу, и на рогоже поверх руды лежал светлый налёт, будто мука.

— С нового карьера. Богатая. — Козьма хлопнул по рогоже. — Я сам пробовал: чугун идёт звонкий.

Дьяк подошёл, взял горсть, посмотрел на свет и ссыпал обратно. В руде он понимал столько же, сколько я в колокольном звоне.

Я взял горсть.

Она была легче, чем надобно. Рудная мелочь тянет руку вниз. А эта лежала на ладони почти невесомо, будто сушёная.

Я растёр её пальцами. Под пальцами шло крупой.

— Козьма Пятый. Тут песок.

— Песок? — Он засмеялся, широко, безобидно. — Батюшка, так она в земле лежит. Земля-то вся из песку.

— Земля липнет. — Я взял ковш из кадки, что стояла у крыльца, и бросил туда горсть. — Глядите.

Вода помутнела рыжим, а на дне ковша остался песок. Светлый, крупный, как крупа.

Козьма смотрел в ковш с большим интересом, будто впервые.

— Так то ж и есть руда. Она в воде мутная.

— Мутная — это руда. А это песок. Он не мутнеет, он на дно ложится. — Я покачал ковш. — В пуде твоей руды четверть песку. Песок не плавится, он тепло ест. И ты за него берёшь как за руду.

Я вылил воду на землю и вытер руки о портки. На ладони остался песок, светлый, мелкий, как соль. Такой же был вчера в мешке. И такой же лежал в изломе пушки, только там его сплавило в сыпь.

— Ты считать горазд, — Козьма прищурился. — А ты сперва узнай, почём ноне руда.

— Мне не почём. Мне — сколько.

Козьма взял из ковша щепоть, положил в рот и раскусил. Я услышал, как хрустнуло.

Он выплюнул на ладонь и посмотрел на меня с уважением, которое мне не понравилось.

— Зубастый.

— Не зубастый. Песок на зубах хрустит. А руда мажется.

— Ну, песочек. — Козьма вытер ладонь о шубу. — С карьера идёт, я его не сею.

Я спросил, почто не сеет.

— А почто сеять? — Он развёл руками. — Я тебе руду вожу, а не крупу. Коли крупа нужна — ступай к Аксинье.

Возчики засмеялись. Дьяк не смеялся.

— Ты бы, Козьма, возил чище. — Дьяк не поднял глаз.

— Возить стану чище. — Козьма легко согласился. — А цену прибавлю на две копейки. Чище — дороже, государь мой. Даром только песок.

Дьяк отвёл глаза.

Вот и весь суд. В двух шагах от меня договаривались о двух копейках. Песок не украли — песок никто не считал. Дьяку платили жалованье, Козьме — за пуды, а за излом отвечал тот, чья подпись.

— Ты бы, Фрол Савельич, мёд себе взял, — Козьма не оборачивался. — Липовый, нонешний.

Фрол не стал брать: у него свой.

— Свой-то, чай, прошлогодний, — не отставал Козьма.

Фрол ничего не ответил, и Козьма посмотрел на меня с прежней лаской.

— А ты, милый, молодец. Ты бы ко мне пошёл. — Он сказал это просто, будто о деле решённом. — Двадцать рублёв в год, харчи, полтина на сапоги. При весовой поставлю, будешь руду принимать.

Двадцать рублей в год. На дворе мне платили два.

— У меня дело.

— Дело у всех. А рубль — не у всех. — Козьма улыбнулся. — Ну?

— Мне при печи стоять.

Улыбка осталась на месте, только перестала доходить до глаз.

— Стой, — Козьма кивнул.

Козьма подошёл на шаг и положил руку на плечо. Рука была мягкая и тяжёлая.

— А ты, милый, книгу читаешь, — Козьма говорил тихо. — Книга — она от бога. Только читать её дело подьячее. Тебе бы при печи стоять, а не по ковшам воду мутить.

— Я при печи и стою.

— Стой. — Он наклонился ближе. — Иной раз скажешь слово, а оно в бумагу ляжет. А из бумаги его уж не вынешь.

Он отпустил плечо и отряхнул ладонь о шубу, будто снял с неё что-то.

— Ты бы, милый, в церкву сходил, — голос у него стал громким, весёлым. — Ноне батюшка хорошую проповедь сказывал. О том, что всяк сверчок знай свой шесток.

Ерофей, стоявший у стола, опустил глаза в книгу.

Козьма пошёл к лошади, но у колеса остановился и сказал своему человеку — негромко, но так, что слышно было на три шага:

— Запомни парня. В лицо. Он у нас теперича приметный.

Человек кивнул и посмотрел на меня без всякого выражения. Молодой, широкий в плечах, с кнутом за поясом.

Воз ушёл, за ним второй. Мёд остался у крыльца, арбуз — под столом, сапоги — у моих ног. Я их не взял. Пусть стоят.

Ерофей сел дописывать. Дьяк вышел на крыльцо и притворил дверь неплотно.

Я стоял над книгой. Ерофей писал, шевеля губами, и на меня не смотрел.

— Дай песку, — я протянул руку. — Присыпать.

Он пододвинул песочницу, не поднимая головы. Я взял щепоть, сыпнул на его запись и заодно перевернул лист — будто искал, куда дунуть.

Лист был исписан с обеих сторон. Внизу, у самого сгиба, стояли четыре строки, короткие и тесные.

«Того ж месяца в девятый день принято у подрядчика у Козьмы Пятого руды сто пудов, а за то выдано двадцать рублёв. Принял Никита Гаврилов».

Почерк был тот же. Мелкий, с крутым наклоном, прижатый к краю.

Девятого дня я руду не принимал. Девятого дня Фрол посылал меня в слободу за глиной, и Аксинья записала тот день у себя в счёте — за две подводы и за мой обед.

Счёт у неё был особый. Тонкая тетрадка в четыре листа, и в ней стояли числа. Потому что Аксинья считала деньги, а деньги за слова не отдаются.

Вырвать лист было нельзя. Книгу сшили в тетради, и по корешку шёл счёт листов — кто-то уже позаботился, чтобы из неё ничего не пропадало.

Я закрыл книгу и поставил её на стол, корешком к себе.

Сто пудов. Двадцать пять из них — песок.

Теперь у меня было две подписи. Одна под закладкой, другая под рудой. Обе — мои.

Глава 4

Чушка остывала до третьего часа.

Я сидел на перевёрнутой опоке и смотрел, как она меняет цвет: вишнёвый, малиновый, потом тот тусклый серый, что бывает у чугуна перед темнотой.

Пока металл светится, трогать его нельзя: остывание идёт от поверхности, и тепло уходит в песок раньше, чем в воздух.

Гордей подкладывал щепу в яму под изложницей и бормотал под нос — то ли молитву, то ли счёт.

Над ямой дрожал воздух, и в нём плавали искры.

— Будет? — спросил Фрол от двери.

— Скоро.

Я взял зубило и молоток.

По чугуну бьют коротко, от кисти: длинный размах даёт трещину в стороне от лезвия, и потом не разберёшь, где слом, а где твой удар.

Чушка раскололась на две половины и легла в песок, как разрезанный хлеб.

Излом был серый, мелкий, ровный, без сыпи; у самой корочки шла светлая полоска, отбел, но узкий, в волос.

— Чистый.

Фрол подошёл, присел на корточки и взял половину.

Он поворачивал её к свету так, как смотрят на чужую работу: ищут, к чему придраться.

— Белый был, — Фрол тронул излом пальцем.

— Белый был у ствола. А это серый.

— И что с того?

— Чугун не выстудили. Шихта держит.

Он положил половину обратно.

Песок под ней остался сухим, без тёмного кольца.

— Держит. — Фрол выпрямился. — А пушка лопнула.

— Пушка лопнула не от шихты. От формы, от стержня и оттого, что стенку никто не мерил.

Фрол вытер руки о портки и глянул на дверь, будто прикидывал, сколько осталось до дьяка.

— Ты бы при нём помолчал.

— Помолчу. Вчера мне печь была нужна, сегодня мне нужна руда.

Он хмыкнул и вышел.

Гордей перекрестился на образа, коротко, как ставят точку.

Я взвесил обе половины на безмене: пять пудов с четью.

В печь пошло сорок пудов руды, два пуда извести и восемьдесят угля, и этого хватило бы на ствол, кабы выход был хоть в треть.

На обрезке опоки у меня были записаны числа с ночи, и я приписал уголком: пять пудов, излом серый, отбел узкий.

Двор просыпался медленно. Над прудом стоял туман, и в нём гулко, будто из-под воды, стукали молоты в слободе.

По мосткам тащили мокрую рогожу, и она оставляла за собой тёмный след.

Собака у ворот лаяла на своё отражение в луже и не могла остановиться.

Я сел на порог и вытянул ноги. Колени ныли, хотя ночью я больше сидел, чем стоял.

Ладонь под повязкой чесалась, и я тёр её через тряпку, пока не стало больно.

Я полез за пазуху за карандашом, которого там не было и быть не могло.

Под рукой оказался уголёк в тряпке.

Дьяк приехал в четвёртом часу.

Возок встал у ворот, колесо увязло в навозной жиже, и возчик долго бил лошадь, пока она не взяла вбок. Из возка вышли двое с рогатинами, потом Ерофей с книгой, потом сам. Он двигался медленно, будто берёг спину.

Степан Ильич Кузьмин был в суконном кафтане, тёплом не по погоде, и вытирал руки о полу, хотя руки были чистые.

— Стол, — сказал он. — И скамью.

Стол собрали из доски на двух бочках. Дьяк велел накрыть сукном, потом передумал: сукно хорошее, а доска мокрая. Сукно унесли, и Ерофей разложил на голубой доске книгу, чернильницу, песочницу и линейку.

Линейку он положил отдельно, ровно, будто она здесь была главная.

Книга была толстая, в кожаной обложке, с двумя застёжками, и от неё пахло пылью и кислой кожей.

— По указу, — сказал дьяк, — велено принять три ствола, что литы на сём дворе в августе. Осмотром и пробою. Пробу чинить за валом, пороху по указной мере.

— По какой мере?

Он посмотрел на меня, потом на Фрола.

— Мастер, у тебя подмастерья отвечают?

Фрол сказал, что отвечают.

— По указной. — Дьяк выпрямился. — Против веса ядра, с прибавкой, три выстрела.

— С половиной прибавки, — сказал Ерофей, не поднимая глаз от книги. — Понеже проба, а не пальба.

Я кивнул.

Полтора веса ядра — это не проверка, а допрос: чугун, который врёт, на таком заряде показывает всё, что у него внутри.

— Полтора — много.

Дьяк обернулся так резко, что скамья под ним скрипнула.

— Много?

— Для доброго ствола много. Он и так треснет, если в нём есть что. А для худого мало: он треснет, а по книге выйдет, что виноват порох.

— Так ты что говоришь? — Он положил ладонь на книгу. — Мне указ нарушить?

— Я говорю: у приговора должно быть число. Полтора веса — это приговор без числа.

Фрол велел выкатывать.

Стволы пошли за ворота, к земляному валу, и колёса лафетов вязли в грязи так, что их подталкивали плечом. У вала стоял щит из тёса с чёрным кругом, за щитом — насыпь в две сажени.

Пахло селитрой и мокрой глиной. Ветер с пруда тянул в спину, и дым от пальника шёл низко, по самой земле. Пушкари работали молча: один баннил ствол, второй носил картузы с порохом, третий держал пальник и дул на трут, когда тот начинал гаснуть.

Ерофей развернул книгу и прочёл вслух, ровно и нараспев, как читают в церкви: «Лета тысяча семьсот четвёртого, августа в двадесятый день, на пробе трёх стволов, осмотром явились годны…»

— Довольно, — сказал дьяк.

Ерофей замолчал, но палец с книги не снял.

Дьяк сел за стол и подвинул чистый лист на вершок влево.

Потом подвинул обратно.

— Начинай.

Пыжи лежали в бочке, нарезанные из старого войлока, и от них пахло овчиной.

Первую навели.

Пушкарь отступил на два шага и вытянул руку с пальником.

— Готово!

Дьяк кивнул.

Сам он стоял в десяти саженях, за углом сарая, и держался рукой за стену.

Выстрел был короткий и плоский, будто обухом по бревну. Пушка откатилась на полсажени, встала, и из запала потянуло сизым дымком.

Ядро ушло выше круга, в насыпь, и оттуда поднялся фонтан земли; комья шлёпнулись в лужу.

— Мимо, — сказал Ерофей и записал.

— Не мимо. Ствол не наведён.

— Пиши: ядро в вал. — Фрол не смотрел на пушку. — Наводчика в книгу не пишут.

Ерофей посмотрел на дьяка; дьяк посмотрел на Фрола и кивнул.

Я подошёл к пушке, пока она не остыла. Казённая часть была тёплая, ровная, и на ней не выступило ни одной волосинки.

Я ударил молотком повыше запала: звук вышел высокий и чистый, с длинным хвостом, как у колокольца.

— Эта держит. — Я убрал молоток.

— По звуку и я знаю, — дьяк поморщился. — Мне надобно по книге.

— Тогда напиши: звенит. Не по книге, а как слышишь.

— Так не пишут. — Ерофей не поднял пера. — Пишут: осмотром явилась годна.

— Пиши осмотром. Только послушай сам.

Дьяк не пошёл.

Он послал Ерофея, и тот ударил молотком дважды, неумело, по краю, и сказал, что звенит.

Пока писали, я обошёл ствол кругом. У цапф, где форма сходилась со стержнем, песок отпечатался рябью, и рябь была глубже с одного боку. Стержень стоял криво ещё в форме, и его повело, когда пошли газы.

Вторую наводили долго: подъёмный винт был тугой, и пушкарь ругался вполголоса, пока дьяк не велел ему молчать при книге.

Выстрел вышел тяжелее.

Пушка подпрыгнула, откатилась дальше и стала боком, и её пришлось разворачивать воротом, а ворот был один на две пушки.

Фрол уже шёл к ней.

Я шёл рядом.

На казне, от запала к цапфе, шла трещина. У запала волосная, она расширялась к цапфе и там становилась в ноготь.

Из неё тянуло дымом, тонко и ровно, как из печной щели.

Фрол присел, потом выпрямился и сказал одно слово:

— Брак.

Дьяк подошёл, посмотрел и отступил на шаг, держа руки перед собой.

— По книге писано: принята в августе по осмотру.

— Вот и осмотр.

Один из пушкарей отошёл к бочке с картузами и сел на неё.

Ерофей уже писал, быстро и ровно, как человек, которому всё равно, что писать, лишь бы буквы стояли прямо.

Я подписывал такие акты тридцать лет. В бланке была графа «замечания» и графа «подпись принявшего». Здесь графы «замечания» не было вовсе, была одна строка: «осмотром явилась годна».

Я ставил имя во второй графе и знал: пока первая пуста, вторая не стоит ничего.

Солнце поднялось над валом, и на железе стал виден каждый след от песчинки.

Третью поставили последней, у самого щита.

Пушкари не суетились, у них всё было готово, и от этого стало тише.

Излом я увидел, как только сняли рогожу с дула.

У дульного среза, где отрубили литник, излом был белый — не серый, не тёмный, белый, как обломок сахара, с мелкой сыпью по краю.

Я ударил молотком по казне. Звук вышел глухой, дребезжащий, будто внутри пересыпали песок.

— Стой.

Пушкарь с пальником обернулся, и я пошёл к запалу. Запал был пустой, только затравка темнела в канале.

Я вынул из-за пазухи берёзовый колышек, который выточил ночью, и загнал его обухом до конца, вровень с кожухом.

— Ты что делаешь?

— Глушу.

— По указу пробу чинят!

— Пробуй. Без запала она не выстрелит.

Дьяк шёл ко мне через двор, и полы его кафтана разлетались.

— Ты кто таков, чтобы указу препятствовать?

— Подмастерье.

— Я на тебя отписку в приказ пошлю!

— Пошли. Только сперва посмотри.

Я подвёл его к дульному срезу.

Дьяк наклонился, держа руки за спиной, и смотрел долго.

— Белое.

— Белое. Чугун выстудили в форме, он хрупкий. Он треснет на первом выстреле не от пороха, а оттого, что не терпит.

— Мастер видел?

— Видел, — Фрол не двинулся. — Я говорил: не лить сырым.

— Так ты ж мастер!

— Я мастер. А лили по ведру.

Дьяк снял шапку, вытер лоб и надел обратно, криво, и поправил её обеими руками, как поправляют чужую.

— Дай верёвку. — Я повернулся к Гордею.

Он принёс обрывок ремня. Я обмотал казну у запала, отметил углём, приложил к аршину.

— Четырнадцать вершков с осьмушкой, — сказал я вслух, потому что считал для книги, а не для себя. — В поперечнике — четыре и две трети.

Потом взял палку, обрезал её по казне, всунул в ствол, упёр в дно и отметил.

— Два с четью. Стало быть, стенка — вершок с небольшим.

— Кто сказал, что надобно два? — спросил дьяк.

— Никто не сказал, так считают. У казны стенка в калибр, у дула — в половину. Меньше нельзя.

— В книге того нет, — сказал Ерофей.

— В книге нет. В пушке есть.

Гордей стоял у бочки с картузами и смотрел на меня, ожидая.

— Неси чушку. Ту, что с ночи.

Он принёс половину, завёрнутую в рогожу, и положил на стол перед дьяком. Дьяк отодвинул бумаги и посмотрел на чугун с опаской.

— Что это?

— Свидетель. От той же плавки, что третий ствол. Лит в сухой песок.

— Смотри излом.

Дьяк взял половину и повернул к свету. Излом был серый, ровный, и на нём не было ни одной точки.

— Серый.

— Серый. А у ствола белый. Один чугун, две формы, два излома.

— И что писать?

— Писать, отчего брак: песок сырой, стержень кривой. Тогда в другой раз будет с чего начать.

Дьяк положил чугун рядом с книгой и долго смотрел на обоих, потом подтянул книгу к себе и стал водить пальцем по строке, будто искал там место, где уже написано, что делать.

— Мне велено принять.

— Прими. Только запиши, что принял.

— Я запишу «негодна». А за негодну кто ответит?

— Тот, кто лил.

— В книге подпись — твоя.

— Вот и запиши, что моя.

Он не понял.

Ерофей понял первый и перестал писать.

— Крупные стволы на Москве льют, — сказал дьяк тише. — На Пушечном дворе. Там печи, там образцы, там мастера от аглицких. А Туле пушек лить не по чину, Тула ружья делает.

— А кто велел лить?

— Нужда велела. Ноне всё по нужде: и руда, и люди.

— Тогда и мера по нужде.

Дьяк смотрел пусто, и я сказал проще:

— Мера. Если льют по нужде, пусть пишут по мере. Тогда в другой раз будет на что сослаться.

Дьяк постучал пальцем по столу. Медленно, четыре раза.

— Пиши. — Я подвинул к нему книгу. — На пробе трёх стволов, сего числа.

— Я сам знаю, как писать.

— Тогда пиши числа: руды сорок пудов, извести два, угля восемьдесят; формы сушены шесть часов; заряд — полтора веса ядра; на втором стволе трещина от запала к цапфе в три вершка; у третьего стенка вершок с четью, а надобно два.

Ерофей писал, и перо у него прыгало на цифрах.

Дьяк слушал, и каждое число садилось ему как гвоздь в сапог.

— Так не пишут.

— А как пишут?

— Пишут: осмотром явилась негодна.

— Напиши и так, и числа рядом.

— В книге места нет.

— В книге места много. — Я показал на пустые листы. — Тут на десять лет вперёд.

Дьяк отобрал у Ерофея перо и сам вписал числа.

Писал он мельче, с сильным нажимом, и дважды останавливался, чтобы пересчитать вершки на пальцах. Потом закрыл книгу и положил на неё ладонь.

— А ты мне что дашь?

— Что я тебе дам?

— Стволы. К весне. — Он смотрел спокойно, и я впервые увидел, что он не трус и не дурак. — Я пошлю отписку: три ствола негодны, причина — недосмотр мастеров. Мне за это не похвалят.

Он помолчал и добавил, глядя не на меня, а на книгу:

— А ежели пошлю, что двор берётся поставить двадцать к марту, и порукой — подпись того, кто шихту кладёт?

— То тебя похвалят.

— То меня не тронут.

Фрол стоял у бочки и смотрел в землю.

— Двадцать, — сказал я. — К первому марта.

— К первому марта, — повторил дьяк. — И подпись твоя.

— Моя.

Дьяк открыл книгу на новом листе и стал писать.

Перо скрипело так, что Гордей поморщился и отошёл к печи. Писал он долго, и на третьей строке сломал кончик. Потом подтолкнул книгу ко мне и дал другое перо.

— Читай.

Я прочёл.

Всё было написано правильно: «…а буде в той партии явится брак или недолив, ответ держать ему, Никите Гаврилову, по сему указу, головой и животом».

— Головой и животом.

— Так пишут.

— Знаю.

Я обмакнул перо.

Рука была молодая, чужая, и я держал её твёрдо, потому что подписывал акты всю жизнь и знал: подпись должна быть ровной, даже если под ней пустота.

Написал: «К сему Никита Гаврилов руку приложил».

Буквы вышли крупные, с наклоном влево. Не такие, как в августе.

Ерофей наклонился и посмотрел через моё плечо.

— Не похоже на прежнюю.

— Прежняя не моя.

Дьяк поднял руку, будто отмахиваясь от мухи.

— Старая запись по уряднику. Урядник помер. — Он посыпал написанное песком. — Мне до того дела нет.

— А мне есть.

Дьяк поднял бровь, и я ответил раньше, чем он спросил.

— Мне не виноватый нужен, а руда. Пока виноват урядник, руда та же.

Дьяк ничего не сказал.

Он закрыл книгу, застегнул застёжки и отдал её Ерофею.

Песок с листа он смахнул на пол, ладонью, и долго вытирал ладонь о полу.

Дрожки у Козьмы были новые, с крашеными крыльями, и среди мокрых телег они стояли как чужое. Козьма приехал, когда дьяк ещё не собрался.

Он вышел из-за угла в енотовой шубе, и в сентябрьской сырости от него пахло тёплым.

— Степан Ильич. С приёмкой тебя.

— С чем ты меня поздравляешь. — Дьяк кивнул на трещину. — Стволы негодны.

Козьма посмотрел на трещину, на третью пушку, на меня.

Улыбка у него не сдвинулась.

— Бывает.

— Бывает, — согласился Фрол.

— Мастер, ты-то чего? Тебе ли не знать: руда как баба, иная родит, иная нет.

— Ты мне баб не считай. Ты мне руду считай.

Козьма засмеялся коротко и не обиделся.

Он подошёл ко мне, и шуба на нём распахнулась, выпустив тепло.

— А ты, Никита Гаврилыч, не кручинься. Руда будет.

— Сколько?

— Сколько надобно. Ты скажи.

— Сорок пудов на ствол. Двадцать стволов — восемьсот. К первому марта.

Козьма посвистел.

— Восемьсот. Это ж с возами.

— Ну, будет. Куда я денусь.

— И песку в ней — не больше пуда на десять.

Улыбка остановилась.

Не сошла — остановилась, как воз на подъёме.

— Такой руды у меня нет.

— Значит, будет другая цена.

— Другая цена — это хорошо. Только денег у двора нет, как у меня снега в июле.

— Тогда ты в убыток.

— Я в убыток не умею, Никита Гаврилыч. — Он сказал это мягко, почти с сожалением. — Я пятился, когда учили.

Он пошёл к дрожкам и обернулся.

— На Михайлов день привезу. Как всегда.

И, уже садясь:

— Ты не серчай. Всё будет.

Дрожки уехали.

Дьяк уехал следом, в возке; Ерофей сидел рядом и держал книгу на коленях, как держат ребёнка.

Мы остались у вала — я, Фрол и Гордей.

Дым от трёх выстрелов ещё держался в низине и не расходился, хотя ветер был.

Пушкари убирали картузы в бочонок.

— Двадцать, — сказал я.

— Двадцать. Из этой руды двадцати не выйдет.

— Сколько выйдет?

— Из сотни пудов тридцать чугуна. На ствол надобно сорок, да угар, да литник. Считай сам.

Я считал уже ночью, три раза, на доске и в уме.

— Двенадцать.

— Двенадцать. И то к Пасхе.

— Значит, надо брать другую руду.

— У кого?

— Не у Козьмы.

Фрол повернулся ко мне всем телом.

— А у кого? На дворе одна дорога, и по ней ездит Козьма. Ты в приказ пойдёшь? Тебе там скажут: воруют все, а ты лей.

— Я промою.

— Что промоешь?

— Руду. Песок уйдёт с водой, сера — с обжигом. Из той же руды выйдет больше.

Он помолчал и посмотрел на пруд, будто уже считал сажени до него.

— Промывать — вода нужна, вода — пруд, пруд за слободой. И люди надобны.

— Знаю.

В его лице опять работал счёт: люди, дни, пуды.

— Стенку ты мерил верёвкой. Это ничего. А подумал, отчего она тонка?

— Стержень повело.

— Стержень в сырой форме ведёт всегда.

— Тогда надо лить телом.

— Как?

— Лить сплошной ствол и сверлить.

Фрол засмеялся.

Коротко, без веселья, будто кашлянул.

— Сверлить шестнадцатифунтовую?

— Воротом. Полгода на ствол.

— У тебя пять месяцев.

— Знаю.

Он снял шапку и подержал её в руках.

— Ты мне вот что скажи. Двадцать стволов из этой руды не будет. Ты это знаешь, и я знаю. Что станешь делать, когда в марте приедет тот же Кузьмин с той же книгой?

Он умел ждать ответа дольше, чем я умел молчать.

Я не успел ответить.

За воротами застучали шаги, и во двор вбежала Аксинья.

Платок сбился на плечо, в руках — пустое ведро, и она держала его, будто забыла, зачем взяла.

— Никита! Митьке худо. Жар, и не узнаёт никого.

Я пошёл за ней.

До её двора было двести шагов, я считал их и сбился на сороковом.

Глава 5

Сентябрь стоял сухой, и на дворе было пыльно.

Двадцать стволов вписали в книгу в четверг. С той поры прошла неделя, и на дворе про них говорили так, будто они уже лежали в сарае под рогожей.

— К весне, — Фрол стукнул пальцем по строке. — К Николину дню чтоб стояли на подставах.

Я спросил, на чём. Фрол ответил, что по бумаге лафеты зовутся подставами.

Я записал в тетрадь: «лафеты — подставы». Тетрадь я завёл сам, из бумаги, которую Ерофей выбраковал за пятна. В ней я считал не стволы, а чугун.

Двадцать стволов по сто пятьдесят пудов — три тысячи. С литниками и угаром — три с половиной. Руды надо вдвое. Это если руда без песку.

— Руда где? — спросил я.

— У Козьмы. — Фрол не поднял глаз от книги.

— Когда будет?

— Обещал вчера. Вчера обещал сегодня.

У ворот Ерофей приколачивал к столбу доску, на которой мелом писали, сколько привезено.

— По телегам, — он отступил на шаг. — Понеже так сподручнее.

— Телега бывает на сорок пудов, бывает на двадцать. И насыпана бывает вровень, бывает с горкой.

Ерофей обтёр руки о платок.

— А ты, Гаврилов, всякую меру оспоришь. Ведро оспорил, теперь телегу.

— Ведро я не оспорил. Я его взвесил.

Вески я сделал за два дня. Коромысло в аршин, крюк из гвоздя, гиря казённая, в два фунта, взятая у целовальника под расписку. Гиря была с клеймом, и против клейма спорить было нечем.

— Взвесь сам, — я подал ему палку.

Он взвесил. Мешок потянул на три пуда с осьмухой, и песку в нём вышло десять фунтов.

— Десять. — Я подвинул к нему тетрадь. — Пиши.

— Десять так десять, — Ерофей послюнил палец.

У ворот стояла женщина в тёмном платке и слушала.

— За неделю сорок два пуда песку, — сказала она, глядя мимо. — По три алтына — сто двадцать шесть алтын.

Ерофей посчитал на пальцах. Потом ещё раз, губами.

— Выходит, — Ерофей поморщился.

Я сказал, чтобы он вписал её в книгу.

— Понеже баба не свидетель, — Ерофей захлопнул книгу.

Пахом, литейщик, стоял у печи и смотрел на нас, как смотрят на чужую драку.

— Батяня мой по ведру лил, — Пахом не повернул головы. — И царевы пушки лил.

Пахом сплюнул и отошёл к мехам.

— Никишка!

Она подняла руку.

— Поди сюда.

Аксинья держала артель, что кормила двор: кашу, хлеб, постой. Считала она лучше Ерофея, и он это знал, потому и злился.

Она не подошла ближе, будто через ворота у неё было меньше прав, чем внутри.

— Митька помирает, — сказала она.

— Как помирает?

— Третьи сутки горит. — Она поставила ведро на землю. — Я ему тряпки меняю, а они как вынутые из навоза.

Я спросил, был ли лекарь.

— Был. — Она поджала губы. — Сказал: бог даст. И что мальчишка крепкий.

— А руку смотрел?

Аксинья помолчала.

— Какую руку?

Я шёл к ней через двор и считал шаги. Сорок до ворот. Потом мостки, потом слобода. Старая привычка: считать, пока не отпустит.

Не отпускало.

Дом у Аксиньи был вросший в землю, в три окна, и в сенях пахло кислым. Не гнилью — капустой, щами, мокрой овчиной. Гниль я учуял позже, когда открыл дверь в горницу.

Митька лежал на лавке под образами. Он был укрыт до подбородка, и одеяло на нём ходило вверх-вниз мелко и часто. У изголовья горела свеча, хотя было светло; рядом стояла чашка с водой и тряпка.

В углу, носками в угол, стояли его сапоги. Кто-то поставил их правильно, чтобы дорога не вышла.

— Дядька, — сказал Митька и посмотрел на меня. — Я ведро донёс.

— Донёс.

— Мне бы отлежаться. — Он облизнул губы. — Завтра смена, а я лежу.

Глаза у него были ясные. Это было хуже всего. В жару люди бредят, а он разговаривал и всё понимал — просто не хотел понимать до конца.

В сентябре мух уже нет. Значит, и запах был не от них.

— Митька. — Я сел к нему на лавку. — Покажи бок.

Он приподнял одеяло. Под рёбрами, слева, была рана в палец, с ровными краями, и она затянулась. Кожа вокруг была бледная, чистая, без красноты.

— Бок зажил, — сказал он с облегчением, будто я пришёл проверять именно бок.

— Теперь руку.

Он не двинулся.

— Рука не болит. — Он смотрел спокойно. — Совсем не болит. Это хорошо, да?

Аксинья стояла у печи и не смотрела на нас.

Я откинул одеяло.

— Его лафетом придавило, — сказала Аксинья. — Мы думали, отлежится.

Предплечье было в полтора раза толще здорового. Кожа на нём лоснилась, натянулась и была бурой, в тёмных пятнах, как старая редька. Кисть повисла, пальцы почернели у ногтей, и ногти уже не блестели.

Я взял руку обеими ладонями. Ниже кисти она была холодная, как вода из колодца. У локтя — горячая.

Под пальцами что-то хрустнуло, тонко, будто я наступил на сухой снег.

— Что там? — спросил Митька.

— Ничего. Лежи.

Я поднял ему руку и посмотрел на подмышку. Там, под кожей, сидел жёсткий узел, с грецкий орех, и кожа над ним была красной. От локтя к нему шли тонкие бурые полосы, как нарисованные.

Я сел на табурет.

В цеху я находил трещину за версту. По звуку, по цвету, по тому, как садится усадка. Тут я тоже знал, что вижу. Только это знание ничего не давало рукам.

— Аксинья. — Я говорил тихо, чтобы он не слышал. — Это антонов огонь.

Она перекрестилась мелко, в три пальца, не поднимая руки до лба.

— Батюшка сказывал, что от этого не лечат.

— От этого режут.

— Что режут?

— Руку.

Она смотрела на меня и молчала. Потом взяла тряпку со стола и стала складывать её вдвое, вчетверо, ровно, как складывают бельё в сундук.

— По локоть? — спросила она.

— Выше локтя. На ладонь выше, где живое.

— А ежели не резать?

— Тогда к утру пойдёт выше. К вечеру следующего дня — подмышка. — Я показал на узел. — А оттуда в кровь, и тогда всё равно.

— Сколько ему тогда?

— День. Может, два.

Аксинья положила сложенную тряпку на стол и разгладила её ладонью.

Она спросила, резал ли я когда-нибудь. Я сказал, что нет.

— А откуда знаешь?

— Знаю. Мне не надо резать красиво. Мне надо, чтобы он дожил до зимы.

Она подошла к лавке и села в ногах у мальчишки. Потом посмотрела на меня снизу вверх, и в её лице не было ни жалости, ни страха — был счёт.

— Кто его кормить будет? — спросила она. — Без руки-то. На дворе он при деле, он формы таскает. А без руки куда?

— Не знаю.

— То-то и оно, что не знаешь. — Она помолчала. — Мать померла на Покров, год назад. Отец в солдатах, под Нарвой. Ему и писать некуда.

Я сказал, что решать ей, но сейчас.

— Режь, — она встала. — Только не при попе. Поп придёт — сперва причастит, а потом ты режь.

Я сказал, что мне нужен свет и стол.

— Стол у окна. — Она уже шла к двери. — Пронька! Пронька, воды! Два ведра, и чтоб кипяток!

Пронька оказался парнем лет семнадцати, с заячьей губой, в отцовском армяке. Он встал в дверях и посмотрел на меня, потом на лавку.

— Дяденька, а он не помрёт?

— Помрёт, — сказал я. — Если стоять будешь.

Инструмент я принёс свой. Нож был хороший, из косы перекованный, с широким лезвием; им резали ремень и строгали доски.

— Пилу. — Я обернулся к Гордею, который прибежал следом за Пронькой. — Тонкую, зубную. Не ту, которой дрова.

— Есть такая, — Гордей закивал. — У столяра. Я мигом.

— И шёлк. Аксинья, нитки шёлковые есть?

— Есть. От покойника остались.

— Давай.

— Шёлк-то зачем?

— Чтобы нитка в ране не сгнила. Лён сгниёт, а шёлк нет.

Она принесла катушку, маленькую, серую, и положила мне в ладонь, будто отдавала деньги.

Пока грелась вода, я мыл руки. Щёлок, потом кипяток, потом опять щёлок. До локтя, между пальцами, под ногтями.

Я мыл руки так, как учила Ольга: сперва ладони, потом промеж пальцев, потом до локтя, и не вытирать, а дать высохнуть. Она говорила: мой так, будто собираешься из них есть.

Здесь мыло было чёрное и воняло. Пахло от него всё равно хорошо.

— Мой, — сказал я Проньке и кивнул на ведро. — До локтя.

— У меня чистые.

Я сказал: мой.

— Дяденька…

— У кого руки грязные, у того в ране грязь. — Я не стал объяснять про то, чего не видно. — Мой, и не спорь.

Он помыл. Гордей помыл тоже, без напоминания, и вытер руки о чистую тряпку, которую сам же и принёс.

Инструмент я опустил в котёл с кипятком. Нож, пилу, две иглы. Сверху положил катушку.

Аксинья спросила, зачем варить нож, и смотрела в котёл, как в прорубь.

— Он режет живое. На нём всё, что было до.

— Он и так чистый.

— На глаз. — Я вынул нож и положил на чистую доску. — Я не хочу, чтобы в рану пошло то, чего мы не видим.

Митьку подняли и переложили на стол, головой к окну. Под руку я подложил доску. Он смотрел в потолок и держался за край стола здоровой рукой.

— Дядька. — Он повернул голову. — А я в солдаты пойду?

Я ответил, что пойдёт.

— Мне руку-то оставь. — Он сказал это спокойно, будто просил подать воды. — Я без руки не пойду. Мне в полку сказывали: без руки не берут.

Аксинья отвернулась к печи.

— Режь, — сказала она в стену.

Жгут я сделал из полотна. Сложил в четыре раза, обмотал выше локтя, продел палку и закрутил.

Инструкция на стене: жгут выше раны, не более чем на час. Я смотрел на это стекло тридцать лет.

Часов у меня не было. Я посмотрел на окно и запомнил, где стоит тень.

Я велел сказать, когда тень дойдёт до наличника. Она спросила, что тогда. Я ответил: отпущу жгут.

Митька закричал на втором обороте. Кричал недолго, потом затих и стал смотреть на меня. Глаза у него были совсем взрослые.

Я велел Гордею дать вина. Он спросил, сколько. Я ответил: сколько выпьет.

Он выпил полкружки и закашлялся. Больше половины пролилось на грудь.

— Ремень.

Пронька не понял.

— В зубы ему ремень, сложенный. И держи плечи, оба. Гордей — руку, у локтя, и не отпускай, что бы ни было. Аксинья, ты держишь голову и говоришь с ним. Без остановки, про что хочешь. Про капусту, про двор, только не молчи.

— Про капусту, — повторила она. — Ладно.

— Начинаем.

Я знал, где резать. Я не знал, как.

Первый раз я провёл ножом по коже и не достал до мяса. Кожа не поддалась, а пошла в сторону, и я остановил нож, чтобы не натворить лишнего.

— Режь, — сказал Митька сквозь ремень. — Дядька, ну.

Второй раз я нажал сильнее. Нож пошёл туго, как по ремню, и под ним раскрылось мясо, тёмное сверху и красное ниже. Крови было мало: жгут держал.

Я обошёл руку по кругу. Митька выгнулся и закричал, Гордей навалился на него всем весом, и под сапогами скрипнули половицы.

— …а капусту мы солим в бочку, — говорила Аксинья ровным голосом. — Бочка за баней, дубовая, ей годков десять. Пронька, ты бочку не растянул?

Мышцу я резал дольше, чем думал. Она не режется, она раздвигается и выскальзывает из-под лезвия, и её приходится держать левой рукой. Левая у меня была в крови по запястье, и пальцы скользили.

— Пилу.

Гордей подал. Я взял её обеими руками и положил на кость.

Кость оказалась твёрже, чем я представлял. Пила шла с сухим звуком, будто пилили доску в тихой комнате, и этот звук был слышен лучше всего остального.

Я считал движения. Двадцать. Тридцать. На сорока сбился.

Митька затих, когда пила прошла половину. Я посмотрел на Аксинью.

Она держала его голову обеими руками и говорила.

— …и масло у нас кончилось на Успенье, а новое ещё не сбито. Так что ты, Митька, не дури. Придёшь домой — масла дам.

Он дышал. Это было слышно.

Пила провалилась. Я убрал её и положил на стол.

На доске лежала рука.

Я не стал смотреть.

Выше среза мышца обвисла и разошлась, и в глубине, в белом, что-то толкнулось и ударило кровью. Тёмной, толчками, в такт.

Артерия. Я знал, что она уйдёт вглубь, как только её отпустить, и что искать её потом пальцами в мясе — дело безнадёжное.

Я нажал. Большим пальцем, всей рукой, до самого дна раны.

— Нитку. Шёлк. Иглу.

Аксинья искала в котле. Кипяток обжигал ей руку, она выхватила катушку, обожглась, уронила, подняла с полу.

— Скорей.

— Не кричи на меня, — сказала она.

— Скорей, Аксинья.

Она продёрнула нитку с третьего раза. Игла дважды вывернулась у меня в пальцах, и я её уронил. Аксинья подняла.

Первый узел соскользнул. Я держал артерию пальцем, а нитка шла мимо, и под пальцем билось и не хотело останавливаться.

Второй узел лёг.

Я подержал ещё немного, потом отпустил. Кровь пошла, но не толчками — ровно, из тех мест, где я не достал.

Третий узел. Четвёртый.

Всё.

Края кости я обточил рашпилем, чтобы не торчали. Кожу хотел оставить на закрытие, как делают, но её было мало, и она была серая.

Я не стал её натягивать. Оставил рану открытой и вложил в неё полотно, смоченное в солёной воде.

— Готово. — Я разогнулся.

— Всё? — переспросил Гордей.

— Теперь пусть дышит.

Я взял палку и стал отпускать жгут. По четверти оборота, потом ждать, потом ещё. Руку отпускало медленно, как отпускает ржавый болт.

— Тень, — сказала Аксинья. — Тень у наличника.

— Вижу.

Из культи пошла кровь, тёмная, ровная, и полотно стало красным с одного края. Я прижал и подождал. Через минуту она встала.

Тогда я накрыл всё чистой тряпкой и перевязал. Края свёл двумя стежками — больше для вида, чем для дела.

Гордей сел на пол, где стоял.

— Унеси, — Аксинья кивнула Проньке на доску.

Пронька спросил, куда.

— В яму, за баней. И закопай. — Она помолчала. — Не в реку. В землю.

Пронька взял доску и понёс её перед собой, как несут хлеб из печи.

Митька дышал. Часто, мелко, но ровно. Я взял его за здоровую руку и нащупал жилу у запястья. Она билась.

Я сел на пол у стола. Меня затрясло, и я не стал этому мешать.

Потолок был в тёмных досках. Я считал их. Их было девятнадцать, двадцатая уходила под печь.

Я вышел на крыльцо, когда стало смеркаться. Сел на ступеньку и стал мыть руки в лохани, которую кто-то поставил у двери.

Щёлок, кипяток, опять щёлок. Я тёр их до скрипа, и всё равно запах остался — не кровь, а железо и что-то ещё, сладковатое, как от старой тряпки.

Потом я почувствовал, что руки пахнут мылом. Просто мылом, чёрным, дегтярным. И вспомнил руки Насти, когда ей было пять: она держала их перед собой, растопырив пальцы, и говорила — не трогай, они ещё мокрые.

Я сидел и держал руки на весу, чтобы сохли.

— Живой? — спросил Фрол от ворот.

Он пришёл один, без фонаря, хотя было уже темно.

— Живой.

— А рука?

— Нет руки.

Фрол кивнул, будто я сказал ему про брак в плавке. Потом посмотрел на свою руку и сжал её в кулак.

— Двадцать стволов. Руда не пошла.

— Знаю.

— Козьма обещал к вечеру. Не привёз. — Он помолчал. — Привёз, да не то.

Я ничего не ответил.

— Я за мальчишку заплачу, — Фрол смотрел в сторону. — За харчи, за полотно, за всё. Скажи Аксинье, чтобы считала и принесла счёт. Я не откажусь.

— Он не харчи.

— Я знаю, что не харчи. — Фрол сказал это ровно, без раздражения. — Я говорю про то, что могу.

Я спросил, видел ли он мальчишку.

— Видел.

— Мальчишка был шустрый.

И сразу, не переводя духу:

— С рудой что делать будем?

Вот и весь Фрол. И он был прав: руда не подождёт, пока мальчишка спит.

— Вези, что везут. Только теперь по весу.

— Козьма по весу не согласится.

— Значит, я сам к нему пойду.

Фрол посмотрел на меня долго.

— Один?

— Один.

— Он тебя не пустит дальше крыльца.

— Пустит. Ему интересно, что я такое.

Фрол хмыкнул и ушёл, и я слышал, как скрипят его сапоги по мосткам, пока не стало тихо.

Аксинья вышла и села рядом, на ступеньку ниже. От неё пахло щёлоком и дымом.

— Ты чего сидишь?

— Дышу.

— Дыши. — Она поставила между нами ведро. — Теперь к тебе будут ходить.

Я спросил, кто.

— Все. У кого грыжа, у кого рука, у кого баба не родит. — Она смотрела в темноту, на двор. — У нас лекаря нет. Поп есть, да от него толку — молитва.

— Я не лекарь.

— Кто ж тебе поверит. — Она усмехнулась одними губами. — Ты нынче мальчишку из огня вынул. Это помнят дольше, чем пушки.

Я молчал.

— Ты, Никишка, теперь тут навсегда. — Голос у неё был ровный. — С места не сойдёшь. Так и знай.

— Я и не собирался.

— Собирался. У тебя это на лице написано. Ты всё куда-то идёшь, даже когда сидишь.

Она встала, взяла ведро и ушла в дом. Дверь она не притворила до конца, и в щели был виден свет.

Стемнело. За воротами застучали колёса.

Подвода въехала во двор тяжело, с натугой, и на ней лежали четыре мешка. Козьма шёл рядом с лошадью, в енотовой шубе, хотя было не холодно.

— Никита Гаврилов, — Козьма окликнул ещё издали, ласково. — А я к тебе.

— К утру бы привёз.

— К утру дорога хуже. — Он похлопал мешок. — Руда добрая. С карьера, что ближе к Оке.

Я взял вески и гирю. Подвесил первый мешок.

— Три пуда.

— Три, — согласился Козьма.

— Песку десять фунтов.

— С карьера так идёт. — Он улыбнулся. — Хочешь чище — плати чище. Чистая руда в Смоленске, а мы тута.

— Десять фунтов в пуде. Это четверть. Ты мне четверть пуда песку продаёшь за руду.

— Я тебе продаю то, что беру. — Козьма поднял палец. — А беру что дают. Ты вот что, Гаврилов. Считаешь ты хорошо, спору нет. Только считать — не руда.

Я сказал, что завтра приду к нему.

— С мастером?

— Сам.

Козьма помолчал. Улыбка у него не сошла, но стала другой, будто он прикинул цену и она ему не понравилась.

— Что ж. — Он посмотрел на небо. — Приходи один. Я тебе и карьер покажу, и людей. — Он сел в телегу и взял вожжи. — Только уговор: у меня во дворе не считают. У меня во дворе слушают.

— Я послушаю.

— То-то. — Он тронул лошадь. — Ты, Никита Гаврилов, человек неглупый. Такие у меня долго не живут.

Телега выехала за ворота. Песок с неё сыпался на землю ещё саженей десять, светлыми полосами в темноте.

Я стоял и смотрел, пока полосы не кончились.

Глава 6

Утром ударил первый заморозок.

Вода в кадке у сарая взялась льдом, тонким, как слюда. Я пробил его ковшом, и лёд пошёл трещинами от края к середине. Под ним вода была такая, что ломило зубы.

Митька спал. Аксинья сказала, что ночь прошла без жару, и велела не будить. Я постоял в дверях, посмотрел на тряпку, которой была обмотана его рука, и ушёл.

До приказа оставалось пять месяцев. Двадцать стволов. Пять месяцев — это двадцать недель, и в каждой неделе по стволу, если считать по-божески и не считать праздников.

На дворе для этого не было почти ничего. Ни весов, ни сухой формы, ни угля, который держит жар. Было ведро, был глазомер и была руда с песком.

Двор просыпался медленно. У печи двое волокли тачкой уголь, и он сыпался на мёрзлую землю, а его подбирали лопатой и ссыпали обратно. Гордей тащил на доске набитую форму, останавливался через каждые десять шагов и переводил дух.

Угольная куча стояла под навесом, и от неё шёл пар. Уголь был сырой и в изморози, и когда его брали лопатой, он не сыпался, а отваливался комьями, как мёрзлая земля.

Я шёл через двор и считал. Двадцать стволов — это пятьдесят пудов шихты на каждый. Это сорок саженей дров на месяц. Это шесть форм в сутки, и сушить их в печи, не на ветру.

У дальнего конца двора, за сушильным сараем, скребло.

Звук шёл ровный, с оттяжкой, будто пилили мокрое дерево. Я слышал его третий день и не доходил: там сидел немец.

Я пошёл туда.

Сарай был длинный, в одно окно, и пахло в нём не дымом, а салом и мокрой стружкой. Вдоль пола, сажени в три, была вырыта яма, и в ней стоймя стояли два дубовых бруса. Между ними на подкладках лежал ствол. Сам он не вращался: вращался вал, который проходил через канал и выходил наружу, к вороту.

На валу, в прорези, сидел резец — один, квадратный, прижатый клинышком. Подача шла не винтом, а деревянным клином: немец бил по нему колотушкой, клин подвигался на волос, и вал с резцом шёл вперёд.

В углу стоял ствол, разорванный у казны. Его не убрали. Лепестки развороченного чугуна были отогнуты наружу и покрыты ржавчиной, а на полу под ним лежала тёмная полоса, будто пролили масло.

Я подошёл и присел рядом. Разрыв шёл от запала назад, наискось, и с одного боку чугун был тонок — на два пальца, не больше, а с другого на ладонь. Кромки были светлые, без окалины, как у стекла, которое разбили одним ударом.

Ему было лет сорок. Борода серая, стрижена неровно. Рубаха чистая, портки — нет. На щеке полоса сажи, будто он тёр лицо рукой, которой держал уголь.

На верстаке стояла скляница, наполовину пустая, и оловянная чарка. Про них я не сказал ничего.

— Чего? — спросил он, не оборачиваясь.

— Посмотреть.

— Смотри снаружи.

Я не ушёл. Стоял у двери и смотрел на его руки.

Руки были хорошие. Он вёл ворот не рывками, ровно, и на последней четверти оборота придерживал ладонью, чтобы не било назад. Рама при этом отдавала на палец и возвращалась. Он это чувствовал и вёл ворот с подтяжкой, ловя тот миг, когда резец начинал цеплять.

Он спросил, долго ли я буду стоять. Я ответил: пока не пойму.

— Что понимать? — Он отпустил ворот, вынул из рамы резец и посмотрел на кромку. — Дуло. Чугун. Ты — шихта. Иди насыпай.

— Кто сказал, что я шихта?

— Все говорят. — Он вставил резец обратно. — Мальчик, который считает. Смешно.

— Смешно, — согласился я. — Пока пушки не рвёт.

Он взял деревянную колотушку и стукнул по клину. Клин пошёл на волос, резец взял глубже, и из-под него поползла стружка.

Стружка была синяя с одного бока, витая, как пружина, и падала в яму, где её уже набралось на две лопаты.

От резаного чугуна шёл запах, которого я не слышал два месяца: горячий металл, сало и что-то ещё, похожее на запах крови. Я стоял над ямой и дышал, пока немец не стукнул колотушкой.

— Синяя, — я показал на стружку.

Немец замер.

— Что?

— Стружка синяя. Значит, резец идёт правильно и чугун не горит. Серая — резец тупой или ход быстрый, и чугун ты сожжёшь.

Он положил колотушку на раму. Посмотрел на меня, потом на стружку, потом опять на меня.

— Кто тебе сказал?

Я сказал, что никто. Он вытер руки о передник.

— Так не бывает. Этому учат. Восемь лет учат.

— Я смотрел.

— На что ты смотрел? — Он обвёл рукой сарай. — Тут один стан и одна яма. Тут не на что смотреть.

Я подошёл к яме и присел на край.

У дула — пять дюймов, к казне меньше. Он ответил сразу, не проверяя, и рука у него не остановилась: четыре и три четверти.

— Значит, конус.

— Значит, литьё врёт. — Он вынул из-под верстака вещь и положил мне на ладонь.

Это было кольцо. Железное, тёмное, с проточенной внутри канавкой, вытертое до блеска в одном месте — там, где его держали пальцами тысячи раз. Рядом легла пробка на короткой ручке.

— Аглицкое, — он повернул кольцо клеймом вверх. — Калибр.

Он взял у меня кольцо, вставил в него пробку. Пробка прошла до половины и встала — годен. Если пройдёт вся, дуло велико и ядро будет гулять. Если не дойдёт и до половины — дуло мало, ядро застрянет на шомполе. Он вытолкнул пробку.

— А зазор?

Он поднял голову.

— Кто тебе сказал «зазор»?

— Сам.

— Врёшь. — Он сказал это без злобы, как говорят «садись». — Тут про зазор не знают. Тут льют в размер и крестятся.

Я держал кольцо в руке. Оно было холодное и тяжёлое, и сбоку на нём стояло клеймо — молоток и две буквы, стёртые почти до гладкого.

— Откуда оно?

— Из Нарвы. — Он сел на опоку, и опока под ним скрипнула. — Когда брали, я был в складе. Там стояли свейские стволы. Сто двадцать штук, в ряд. И у каждого на ремне висела мерка, привязана к цапфе. Клеймо, номер, мерка. Всё вместе.

Я повертел кольцо. Сто двадцать стволов, и у каждого своя мерка на ремне. Значит, ствол делали не «на глаз», а под проверку, и проверку возили вместе с ним, чтобы на батарее было чем ответить, если ствол не тот.

— Они и внутри гладкие, — сказал немец. — Как зеркало. Проведи пальцем — не зацепишься.

Я сказал, что это и есть работа. Он поправил: расточка.

Он встал и кивнул на ворот.

— Крути. Ровно. Не дёргай.

Я взялся за ручку. Дерево было гладкое и тёмное от рук, ремень на ручке стёрся до основы.

Крутить оказалось тяжелее, чем смотреть. Ворот шёл туго, с натягом, и на каждом обороте отдавал в ладонь. Я считал вслух, потому что иначе сбивался: сто десять, сто пятнадцать, сто двадцать. На сотом обороте начало ныть плечо — то, левое, которое ноет на холоде. На сто двадцатом немец стукнул колотушкой, клин подался, и стружка пошла гуще.

— Хорошо, — сказал он. — Ты считаешь. А другие крутят, пока рука не устанет. — Он пожал плечами. — Потом говорят: немец медленно работает.

Сто двадцать оборотов на восьмую часть дюйма. Я не стал говорить это вслух, но цифра легла в голову и осталась там: на дюйм — девятьсот шестьдесят, на ствол — сто пятнадцать тысяч. Я крутил и смотрел в яму.

В глубине канала блестела проточенная половина — светлая, ровная, в тонких кольцах от резца. А впереди, куда резец ещё не дошёл, канал был тёмный и шершавый, в мелких крапинах, будто его облили и не убрали.

— Вот, — он кивнул в яму. — Литьё. А это — работа.

Он выбил клинья, и мы вдвоём повернули ствол на раме. В свете окна граница шла кольцом: с одной стороны блеск, с другой — тёмная корка, и в ней песок, впаянный в чугун.

Я взял у него кольцо и попробовал сам, с трёх концов. У казны пробка прошла половину и стала. В середине прошла на две трети. У дула провалилась целиком, до самой ручки, и стукнула о край.

— Вот и весь конус.

— Вот и весь, — согласился он. — Ядро в четыре и три четверти войдёт в казну, пройдёт полствола и застрянет.

Я сел рядом и пересчитал по дням. Двенадцать дней по десять часов — семь тысяч минут, и в них должно уложиться сто пятнадцать тысяч оборотов. По шестнадцать в минуту, без роздыху, без смены резца и без новой стволины.

— Без роздыху не выходит, — сказал немец. — Потому и выходит четырнадцать.

— Двадцать стволов — двести сорок дней. Восемь месяцев. Мне дают пять.

— Я знаю. Я тебе это сказал в первый день, когда ты пришёл.

Ворот не годился. Восемь месяцев работы в пять месяцев срока — это не задача, это приговор, и никакая арифметика его не отменяла.

Я знал, чем это лечится: станиной, которая не играет, винтом, который подаёт резец на сотую, и колесом, которое крутит вал без человека. Станины тут не было, винта не было, а колесо стояло за рекой, на мельнице, и мололо чужую муку.

У меня в цеху расточной станок весил двенадцать тонн, и резец шёл по чугуну, как нож по маслу. Здесь резец стонал на каждом обороте, рама отдавала на палец, а человек за воротом считал до ста двадцати.

Про это я говорить не стал. Тут за такие слова зовут попа.

— Почему не лить сразу в размер? — спросил я. — Отлил дуло по калибру, и точить не надо.

— Пробовал? — Он сел на край ямы и свесил ноги в стружку. — Я пробовал. Три раза. Шишка.

Сердечник — стержень, который в форме оставляет дуло. Немец показал руками, какой он длины, и я понял, в чём дело: стержень в форме держится не на весу, а на трёх подпорках, и подпорки эти горят первыми. Чугун подходит, стержень всплывает, как полено в половодье, и дуло уходит вверх. На четверть, может, больше.

Я это видел. Не здесь — у себя, на разливке, когда форма не держала стержень и в отливке уходила стенка.

— С одного боку стенка пять дюймов, с другого три с половиной, — он постучал по стволу. — Такой ствол рвёт с тонкого боку. На третьем выстреле.

Я ждал второго.

— Чугун садится. — Он сжал кулак и разжал. — Когда стынет, тянет за собой. Пять дюймов на сотую — это двадцатая часть дюйма. Толще ногтя.

— И не ровно, — я показал на стенку. — Где толще, там тянет сильнее.

Он посмотрел на меня и спорить не стал. Усадку можно было поймать на чушке, а в стволе она шла врозь: тонкая стенка садилась быстрее, толстая медленнее, и дуло вело на сторону.

— Третье — пригар. — Он постучал ногтем по тёмной корке. — Песок спекается с чугуном. Вот эти крапины. Их не счистить: рука не достанет на десять футов. Первый выстрел их срывает, и они идут в зазор вместе с ядром.

Пригар я знал по чушкам, где его снимали зубилом и наждаком. В дуле десятифутового ствола зубило достаёт на два фута, а дальше начинается слепое место, и в нём живёт песок.

— И четвёртое. — Я загнул палец. — Ты не поймаешь зазор.

— Да. — Он кивнул. — Зазор — четверть дюйма. И ни волоса больше.

— Почему?

— Потому что зазор — это не дырка. — Он поискал слово, не нашёл и сказал по-немецки: — Spiel. Люфт. Ядро должно пройти и не должно гулять. Один волос лишний — оно гуляет и бьёт не туда. Один волос недостачи — его рвёт в стволе.

— А теперь скажи, зачем тебе это.

Он спросил прямо, и соврать было можно.

— Мне лить двадцать стволов к весне. Из этой руды. — Я достал из кармана горсть и показал. — С этим песком.

Он взял горсть, растёр между пальцами, понюхал.

— Песок, — сказал он. — И сера. Ты плавишь песок, а потом удивляешься, что ствол рябой. И уголь у вас дымный.

— Он даёт дым и золу. — Немец взял из кучи за ямой кусок, расколол о колено и показал слой породы. — У вас уголь — это камень с углём. Вот это не горит. Это лежит в печи и ест место.

Он бросил кусок в яму, вытер ладонь о передник и поднял на меня глаза.

— Хорошо. Ты знаешь шихту. Тогда слушай про припуск.

— Слушаю.

— Все говорят: лей толще. — Он взял с верстака уголёк и провёл на доске две черты. — Но толще — это не припуск. Припуск — это когда ты знаешь, сколько снимешь. Дуло я точу на восьмую. Значит, в литье оно должно быть на восьмую уже. Стенку снимаю на четверть — значит, в литье она на четверть толще. И я должен знать, что за восьмую не перейду.

— Иначе что?

— Иначе я полдня точу, а потом вижу, что стенка тонка, и ствол в брак. — Он бросил уголёк на доску. — Твой Фрол скажет: немец испортил ствол. И будет прав.

— Тогда лей с запасом больше.

— Больше — тяжелее, zum Teufel. — Он усмехнулся. — Тут всё упирается в пуды, мальчик. Не в дюймы.

Ствол по указу — тридцать шесть пудов. С припуском выйдет сорок, может, сорок один. Он показал рукой на те пуды, которых не хватало: Фрол спросит, где ещё четыре.

— Скажем, что в стружке.

— А стружка где?

— В шихте. — Я показал под яму. — Она чистая, без песку. Её переплавить, и вес вернётся в печь. Пуды сойдутся.

Немец постоял, посмотрел на кучу стружки, потом на меня, и кивнул один раз.

— Пуды сойдутся, — повторил он. — Ты думаешь, как… — Он не договорил и махнул рукой. — Ладно.

Я спросил, что ладно. Он не сразу ответил и сел.

— Ладно — значит ладно. А теперь я скажу тебе, почему не пойду к Фролу.

— Я тут немец. — Он сказал это ровно, без нажима. — Меня выписали литейным мастером. В тысяча семьсот первом. Обещали печь и свою шихту.

— А дали?

— Дали сарай и яму. — Он обвёл рукой стены. — Четыре года я точу чужое литьё. Чужой брак. Точу, а он всё равно рвётся, потому что лили из песку.

— Ты говорил про шихту?

— В первый год говорил. — Он поднял палец. — Мне сказали: деды так лили. Во второй год сказал громче. Мне сказали: немец, не лезь в чужое дело.

— А в третий?

— В третий я стал пить. — Он сказал это без жалости к себе. — Так дешевле.

За стеной волокли доску, и доска шаркала по мёрзлой земле.

— Фрол говорит, ты не тот, кем был, — он смотрел на дверь.

Я поднял голову.

— И что?

— Мне всё равно. — Он смотрел спокойно. — Мне нужен мастер, а не биография.

Это сказал человек, который четыре года точил чужой брак и пил от тоски. Сказал как вещь, а не как милость.

— Тогда слушай. — Я присел у ямы. — Мне нужен один ствол. Пробный. Отлить с припуском, дать остыть в форме сутки, а не на ветру, и проточить у тебя.

— Один?

— Один. Потом посчитаем, сколько ушло времени, и решим, как быть с двадцатью.

Он думал долго. В дверях за это время прошла длинная тень и не остановилась. Я узнал походку: Фрол ходил быстро и не глядел по сторонам.

— Условия. — Немец поднял голову. — Первое: Фрол скажет это вслух. При мне, при свидетеле. Не тебе в ухо, а вслух: «лей с припуском». — Он загнул палец. — Второе: ты подпишешь в книге своей рукой, что чугун с припуском — по твоему слову, а не по моему.

Я согласился. Он загнул второй палец.

— Третье: у печи стоишь ты. Сам. Я не буду объяснять дважды.

Я согласился и с этим.

— И четвёртое. — Он помолчал. — Когда ствол выйдет тяжёлым и придёт дьяк, ты не скажешь, что это немец велел.

— Не скажу.

— Скажешь. — Он усмехнулся. — Все так говорят, пока не придёт дьяк.

Я спросил про другого на ворот.

— Другой не считает. — Он покачал головой. — Другой собьёт клин и сломает резец, и я неделю буду точить новый.

Я смотрел в яму. Рама играла, клин ходил на волос от удара к удару, и человек за воротом уставал уже к полудню.

— Приходи завтра. — Немец взялся за ворот. — С Фролом.

Я пошёл к двери.

— Гаврилов.

Я обернулся.

— Про зазор при попе не говори. И про усадку. — Он вытирал руки о передник, медленно, палец за пальцем. — Я в первый год сказал про усадку. Меня три дня звали колдуном, а потом пришёл поп и спрашивал, крещён ли я.

— И что ты сказал?

— Сказал, что крещён. — Он бросил тряпку на верстак. — Дважды. На всякий случай.

Я взялся за дверь.

— Ты говоришь, как мастер из Гарца, — он поднял голову.

Я остановился.

— «Сначала мера, потом огонь». Так там говорят. — Он смотрел на меня. — И ещё: «кто не считает, тот льёт брак».

— Я не был в Гарце.

— Я знаю, что не был. — Он смотрел дольше, чем нужно было для разговора. — В Гарце так говорят мастера. А тебе девятнадцать.

— Девятнадцать.

— Ну да. — Он отвернулся к стану. — Колесо. — Он не глядел. — Мне нужно колесо. Тогда три дня вместо четырнадцати.

Он бросил мне кольцо. Я поймал его на грудь, обеими руками, и оно оказалось тёплым.

— Померяй свою чушку. Утром скажешь, сколько у неё дуло.

Я вышел во двор.

Заморозок держался. Над печью стоял дым, сизый, низкий, и не поднимался: значит, дутьё слабое, и уголь не тот, и день будет длинный. Свет от лётки лежал на мёрзлой земле красным пятном, и в нём было видно, как из трубы выползает дым и ложится на крышу, не отрываясь.

Я шёл и считал. Колесо на мельнице за рекой — саженей в четыре. Вал. Ремень. Подача.

Колесо я видел вчера, и оно вертелось.

Глава 7

Утром я учил Гордея считать воду в руде.

Мешки лежали в углу сарая, где с осени текла крыша.

Сверху руда была сырая и тёмная, в середине сухая и светлая, и на глаз они не отличались.

Считать было нехитро: горсть на безмен, потом на под печи, пока не запахнет камнем, потом опять на безмен.

— Разница — вода, — я поставил горсть на безмен. — Восемь фунтов на пуд.

— На глаз видно, — Гордей кивнул на мешок. — Дед на глаз лил.

— Когда сухо, видно. Сырое на глаз как сухое.

Гордей подержал горсть, понюхал, лизнул и согласился без охоты.

Углём он нарисовал на доске от опоки кривую палку и две перекладины рядом.

Я не стал поправлять: литью он верил больше, чем счёту, но доску не бросил.

К обеду над лёткой дрожал воздух, и в нём висела мелкая сажа.

Я прикидывал, сколько руды пойдёт на пробный ствол, и сбился.

У ворот загудели голоса.

Так гудят, когда несут икону или когда ведут человека.

Я вышел на крыльцо.

Подвода стояла у ворот, и гнедая лошадь под ней была сытая и знакомая: на такой я ездил к Козьме.

За подводой держались посадские, пятеро или шестеро.

Ещё двое стояли в чистых кафтанах, без дела, — такие всегда стоят при бумаге.

Ерофей шёл первым, держа лист перед собой обеими руками, как держал книгу.

Рядом с ним шёл поп, и двор притих.

Поп был широкий, в камлотовой рясе, борода с проседью, руки мягкие и чистые.

От него пахло ладаном и лошадью.

Он шёл не спеша и оглядывал двор так, как оглядывают своё.

Я стоял у печи с мокрыми по локоть руками, и вытереть их было не обо что.

— Гаврилов. — Ерофей поднял лист. — По делу.

— По какому делу.

— Было письмо. Стало дело. — Он приподнял лист за угол. — Читаю.

Читал он ровно и нараспев, как читают в церкви, и на середине двора стало тихо.

— «Лета тысяча семьсот четвёртого, сентября в семнадцатый день, на Тульском оружейном дворе, по извету подьячего Артиллерийского приказа Ерофея Иванова сына, заведено дело о подмастерье Никите Гаврилове. А в книге приказа, лист сорок шестой, записано: откуда подмастерье знает про песок и про стыть, надлежит спросить особо. И по тому вопросу ныне заведено дело».

Он опустил лист, посмотрел на меня и поднял снова.

— «А он, Гаврилов, говорит о том, чего ни в книге, ни в указе нет, и мёртвого металла слушает, и по какому учению — не объявил. Того ради подлежит допросить, а буде явится в словах его соблазн, отписать в приказ».

— Прочитал.

Он кивнул и придержал лист обеими руками, будто лист мог уйти.

— Два раза одно и то же: в книге вопрос, в деле вопрос.

Ерофей сложил лист вдвое через ребро, аккуратно, как складывают деньги.

— В книге вопрос писан для памяти, а дело писано для ответа. Понеже память одна, а ответ один.

Поп до этого молчал.

Он подошёл ближе, и я увидел у него на поясе кожаный мешочек.

— Ты Гаврилов?

— Я.

Он спросил, крещён ли я и где.

Я сказал: здесь, у Николы на Ржавце.

Потом спросил про исповедь, и я не нашёлся.

Тело помнило пост, а исповеди в нём не было.

— Не помню.

— Не помню — это три года. — Поп вздохнул. — Я не про то пришёл. Я про то, отчего ты мёртвого металла слушает.

— Металл не мёртвый.

Поп помолчал и переспросил, будто я сказал не по-русски.

— Он в изломе говорит, что с ним сделали. Мёртвый бы молчал.

Поп поднял руку и перекрестился мелко, у груди.

Посадские сделали то же, с опозданием, как делают, когда не поняли, но боятся.

У мехов кто-то пригнулся к работе, чтобы не смотреть.

— Ерофей, — поп обернулся к нему. — Дай мне тот камень.

Камень принёс из сарая тот, что стоял без дела: ночную чушку, ту, что легла в пятницу, на четыре пуда тридцать пять.

Поп взял её обеими руками и чуть не уронил.

— Камень как камень.

Поп повернул её в руках и ничего в ней не нашёл.

— Расколи. С краю.

Он посмотрел на Ерофея, и тот достал из-за пояса маленький молоток.

Ерофей подал ручкой вперёд, как подают крест.

Поп ударил неловко, но попал.

От чушки отскочил кусок, и на утоптанной земле легла серая крупа.

— Что это?

— Излом. — Я взял у него отбитый кусок, и он отдал его не сразу.

— И что в нём?

— Он мелкий и серый: чугун не выстудили и газ из него вышел.

Я показал на пушку у стены, ту, что стояла с трещиной.

— А у неё излом был белый, как стекло. Оттого она и лопнула.

Поп смотрел на излом долго, потом на меня.

— Стало быть, ты по камню знаешь, что будет.

— Знаю.

— Вперёд знаешь. — Он сказал это не спрашивая.

— Вперёд.

У ворот кто-то вздохнул громко, и это вышло неловко.

Поп передал чушку Ерофею и вытер руки о рясу.

— Вот. — Ерофей не скрывал удовольствия. — Я о том и писал. Вперёд знает либо тот, кто с бесом знается, либо тот, кто читал книгу, которой у нас нет.

— Кто тебя научил? — спросил поп.

Вопрос был простой.

Отвечать было нечем.

Меня учил Лёнька Кислов, мастер с нашего участка, который бил линейкой по пальцам за допуск в полмиллиметра.

Он умер в девяносто шестом, и сказать про него я не мог ни слова.

— Никто.

— Так не бывает, — сказал поп. — Грамоте учат, счёту учат, литью учат. А ты и грамоте, и счёту, и литью сам?

— Смотрел.

— На что? — Поп подождал, и посадские за ним тоже ждали.

— На излом, на шлак, на то, как садится чугун. Три года.

Поп повторил это за мной и обернулся к воротам, где как раз входил Фрол.

Фрол шёл от приказной избы и на ходу застёгивал кафтан.

Увидев попа, он не остановился и не ускорился.

Он подошёл и встал так, чтобы между мной и попом была его тень.

— По делу пришёл, отче?

— По делу.

— Дело в приказе. А двор мой.

— Двор казённый. И люди казённые.

— Люди мои, пока я за них отвечаю.

Фрол не сел и шапки не снял.

Он повернулся ко мне и посмотрел сверху вниз.

Я ждал, что он скажет про пушки.

Он сказал другое.

— Головой его взяло. Лафетом, в приёмку, когда ствол разорвало.

— Которым лафетом? — спросил поп.

— Тем, что у стены стоит. — Фрол не моргнул. — Рядом был, лафет отбросило, край зацепил.

— И долго лежал?

— Неделю. Спроси Гордея.

Гордей стоял у мехов с ремнём в руках и не сразу понял, что его позвали.

— Гордей. Ты его поднял?

— Я, батюшка. — Он смотрел в пол. — Он лежал на песке белый и не признал меня. Спросил, как его звать.

Поп молчал, и по лицу было видно, что он ищет, за что зацепиться.

— Вот, — Фрол кивнул на меня. — Он и сейчас половину не помнит. Спроси, как мать звали.

— Как мать звали? — спросил поп.

Я не знал: в теле это лежало далеко, за перегородкой, и я туда не ходил.

— Не помню.

Поп смотрел на меня, и в глазах у него была не жалость и не торжество, а скука.

Так смотрят на работу, которую всё равно придётся делать.

— И после того удара он про песок знает?

— После того он про всё знает, — сказал Фрол. — Про литьё.

Гордей смотрел в землю.

— А грамоте кто учил?

— Дед. Кузнец. — Фрол говорил ровно, как читают наизусть. — У него книга дедова осталась, письменная. Я её видел.

Я стоял и слушал, как за меня врут.

Прибавить ничего не мог, потому что всякое моё слово было бы хуже.

— Покажи книгу.

— Не покажу. Книга в деле.

Поп сказал, что книга не в деле, а в сундуке.

Фрол ответил, что сундук его и ключ у него.

Потом поп попросил тихо, без нажима, как просят соседа.

Фрол ответил, что даст, когда ствол выйдет.

Ерофей привстал на носках, будто его подняли за шиворот.

— Понеже книга — первое дело. Покажи книгу, и я пойду.

— А в книге той расчёт: сколько руды ушло, сколько угля, сколько вышло. Кто её покажет, тот покажет и воровство.

Ерофей сел обратно на каблуки и закрыл рот.

— Воровство не моё, — сказал он наконец.

— И не моё. А расчёт казённый, за него дьяк отвечает. Тебе дьяк нужен?

Поп обернулся к Ерофею, и Ерофей стал меньше.

Он сказал, что в книге числа, а числа он не проверял, проверял дьяк.

Это была правда, от которой попу не стало легче.

— Ладно. — Поп поднял руку. — Книгу после. Сперва человек.

Он расстегнул мешочек на поясе и достал крест: не напрестольный, а ручной, медный, с эмалью, на коротком шнуре.

Крест он положил на широкую ладонь.

— Три есть способа. Отстоять службу. Взять крест. Водой испытать.

Никто на дворе не двинулся.

— Служба — это стоять. Всю, от «Благослови» до «Отпуста», на глазах у прихода. И не одну, а три.

— Три дня, — сказал Фрол.

— Три службы.

— Три дня у печи.

— У печи он и стоит. — Поп посмотрел на Фрола. — Только печь моя.

Фрол ничего не ответил.

Про крест поп сказал коротко: не служба и не вода, а слово, и слово он возьмёт здесь, при свидетелях.

Ерофей спросил про воду.

— Вода — это суд.

Поп сказал это просто, будто о погоде, и посадские за спиной зашумели.

— В Упу, с крестом, трижды. Коли вода примет — чист. Коли выбросит — не чист. — Он посмотрел на меня. — Ты молодой. Тебя, поди, и не выбросит.

— Он казённый мастер, — сказал Фрол.

— Вода не спрашивает, казённый.

— К первому марта двадцать стволов.

— К первому марта меня не спросят, а за душу спросят.

Он сказал это громче, чем нужно.

— Отче, — Ерофей наклонился к нему. — Дело писано в приказ. Коли мастер утонет до ответа, дьяк спросит, кто его в воду послал.

— В приказ пишут, а судит Бог.

Поп сказал это, но уже не так твёрдо.

Я увидел, что он тоже считает: приход, дьяка, людей за воротами.

И что счёт у него выходит не в мою пользу.

Я стоял и считал своё.

До Упы от двора — верста с четвертью, вода в сентябре холодная.

Человека в мокрой рубахе держит не вода, а холод: минут десять, дальше руки сводит.

Это я знал не по опыту, а по технике безопасности, которую сам писал в другой жизни.

— Отче.

Поп повернулся.

— Дай срок.

— Срок тебе Бог даст, а не я.

— Мне твой нужен. Не Божий.

Он прищурился и подождал, что я скажу дальше.

— Руда плохая. Её возит Козьма, и она с песком. Из плохой руды ствол не выйдет, а из хорошей выйдет всякий.

— Ты мне про руду?

— Я тебе про дело.

— Про дело мне дьяк говорит.

— Дьяк говорит про пушки. Ты пришёл про душу.

Я вытер руки о портки, и песок остался на коже.

— Так не бери душу. Возьми горсть.

— Какую горсть?

— Из любой телеги, из любого мешка. При свидетелях, какие у тебя есть.

Я кивнул на чистые кафтаны.

— Из этой горсти я отолью один ствол. При тебе. И всё, что до него: закладку, выпуск, излом.

Поп молчал, и молчание было длинное.

— Один ствол не двадцать.

— Один, — согласился я. — Двадцать я тебе не обещаю.

— А почему не двадцать? — Он спросил это не из жадности, а по привычке торговаться.

— Потому что двадцать — это пять месяцев. Я тебе не про пять месяцев, а про один ствол.

Он оглянулся на Ерофея, но Ерофей смотрел в лист и не поднял головы.

— И что мне смотреть? — спросил поп. — На огонь?

— На три вещи. Мера. Запись. Свидетель.

— Что за свидетель?

— Малая отливка, из той же печи и в ту же минуту. Её можно взять в руку и расколоть тут же.

— И по ней видно?

— Видно, что было в шихте.

Поп покачал головой, и в бороде у него запуталась сажа.

— Ты мне про чудо говоришь.

— Я тебе про то говорю, что два раза выйдет одно и то же.

— А коли не выйдет?

— Тогда я сам скажу, что это не ремесло.

— А что?

— Гадание.

Поп перестал качать головой.

— Гадание, — сказал он. — Это когда всякий раз по-разному и никто не знает, отчего.

На дворе стало совсем тихо.

Кто-то у мехов уронил ремень, и ремень щёлкнул по земле.

— Ты в гадание пишешь то, что деды делали, — Ерофей не отрывался от листа.

— Я в гадание пишу то, что не повторяется.

Я не стал на него смотреть.

— Ты сам в книгу вписал: «шихты по старой мере». А меры не было. Было ведро.

— Довольно, — сказал поп.

Он сказал это негромко, и Ерофей замолчал на середине слова.

Поп глядел долго, и я видел, как он думает не про беса, а про завтрашний приход.

— Водой я тебя не возьму, — сказал он наконец. — Вода сразу, а ты будешь сохнуть до Рождества.

— До Рождества Христова, — поправил он сам себя и поднял палец. — К тому дню чтоб ствол был.

— Не в сарае под рогожей. Тот, что я сам выбрал из горсти, сам видел в закладке, сам видел на пробе.

Посадские подались вперёд, чтобы слышать.

— И коли лопнет — не я тебя зову, ты сам идёшь.

— Сам иду.

— Скажи при свидетелях.

— Сам иду, — сказал я.

Кто-то у ворот повторил это шёпотом.

Один из них что-то сказал другому, и тот кивнул.

— И крест. Крест сейчас.

Он поднял крест на шнуре и держал его перед моим лицом.

Я повторил за ним слово в слово: не от беса, не от ведуна, не от еретика, учения не принимал.

Потом он спросил, от кого знаю, и я помолчал.

— От дела.

Поп глядел дольше, чем нужно было для ответа, потом кивнул Ерофею.

— Пиши: «от дела».

Он обмакнул перо и наклонился к листу.

Крест был тёплый от его руки.

Я приложился и почувствовал на губах металл и воск.

Ерофей разложил на опоке книгу и писал стоя, пригнувшись.

Перо шло быстро и ровно, без клякс.

Потом он откашлялся и стал читать вслух, а поп слушал, глядя в землю.

— «…Подмастерье Никита Гаврилов на кресте показал: учения не от беса, не от ведуна, не от еретика, а знает от дела. И того дела ему срок до Рождества Христова, чтоб ствол был, из руды, какая при том выбрана, и чтоб при том были свидетели. А до того сроку взят он на поруки мастером Фролом Савельевым, и Фролу за него отвечать перед приказом и перед церковью. А буде в литье его или в словах явится порча — ответ держать Фролу Савельеву головой».

Фрол не двинулся.

— Ты не писал такого.

— Я писал дело, — Ерофей прижал лист ладонью. — А дело без поруки не дело.

— Поп. Ты слышал?

— Слышал.

— Головой.

— Головой, — сказал поп. — Ты за него уже отвечал. Ныне это на бумаге.

Фрол молчал, и я смотрел на его руки.

Руки были спокойные, только большой палец ходил по шву кафтана, вперёд и назад.

— Читай ещё. — Поп кивнул Ерофею. — Чтобы слышали.

Ерофей прочёл всё с начала, тем же ровным голосом.

На словах «ответ держать головой» один из чистых кафтанов перекрестился.

— Довольно. Господи, благослови.

Поп пошёл к подводе, и посадские расступились.

У телеги он обернулся.

— Служба в воскресенье, в притворе, со свечой.

Ерофей напомнил про три службы. Поп сказал, что одна, и что весь двор придёт.

Лошадь переступила и задела оглоблей столб.

Он сел в телегу, и лошадь тронула.

Фрол стоял и смотрел, как за воротами поворачивает подвода.

Ерофей складывал книгу.

— Двор весь придёт, — Фрол не глядел на меня. — В притворе стоять будешь не один.

— Зачем ты это? Про лафет, про книгу.

— Затем, что пушки мне надобны.

Он сказал это без злобы, как говорят про дрова.

Лицо у него было усталое, как после смены.

— Я за тебя ответил. Не пушкой. Головой.

— Я понял.

— Не понял. — Он пошёл к печи. — Поймёшь в марте.

У печи он остановился и сказал, не оборачиваясь:

— До Рождества чтоб ствол. Не к весне, а к Рождеству.

— Услышал.

— И немца своего к попу не подпускай. — Он взялся за лопату. — Немец не наш, за него дьяк отвечает, а спросят меня.

В дальнем сарае, у двери, стоял Шварц.

Он не подошёл ни разу за весь разговор, и теперь смотрел, как уезжает подвода.

Увидев, что я гляжу, он закрыл дверь.

Я пошёл к Аксинье.

У неё в сенях пахло кашей и мокрым полотном.

Она считала на счётах, и костяшки щёлкали быстро, как дятел.

— Садись. Ложка одна, хлеба нет.

— Нет и не надо.

— Как это не надо. — Она поставила передо мной горшок. — Ты в церкви стоять будешь. Натощак-то?

Она уже знала: на дворе не бывает, чтобы не знали.

— Книга нужна. Дедова, про которую Фрол сказал.

Аксинья отложила счёты.

— Дед твой был кузнец, и книги у него не было. У него заказы были, на доске.

— Знаю. А Фрол сказал, была.

Она помолчала, потом достала из-за иконы пачку бумаги, перевязанную суровой ниткой.

— Счётные листы. Чистых три. — Она подула на них. — Бумага неважная, но письменная.

— Почерк нужен старый.

— Почерк будет. Дьячок у Николы пьёт, за две копейки напишет, что скажешь.

— А тебе зачем?

— Затем, что ты мне за постой должен. — Она снова взялась за счёты. — И затем, что с венцом на голове должники платят лучше.

Я не сразу понял.

Потом понял, что она про ствол.

— За тобой теперь не Козьмин глаз, — сказала Аксинья, не поднимая головы. — Козьмин-то глаз у меня на дворе всякий день. А этот, с крестом, — он в книгу глядит.

— Пусть глядит.

— Он глядит и других заставляет. — Костяшки щёлкнули. — Ты ешь, каша стынет.

Я вышел от неё, когда стемнело.

Приказная изба была у самых ворот, и в слюдяном окне горел свет.

Через мутное стекло видно было не людей, а движение: кто-то сидел, наклонялся, поднимал руку.

Я подошёл ближе.

Ерофей сидел за столом и переписывал.

Перед ним лежали два листа: один исписанный, другой только начатый.

Он выводил строку, останавливался, дул на неё и брался снова.

Дверь была приоткрыта.

Я толкнул её.

— Чего?

— Хотел посмотреть, что написано.

— Написано то, что читано.

— Написано на двух.

Он посмотрел на листы, потом на меня, и вдруг усмехнулся, будто я сказал что-то смешное.

— Одно в дело. Другое в приказ.

— В который?

Ерофей отложил перо и сложил руки на столе.

— В тот, что прежде спросит, — сказал он.

Я вышел и сосчитал шаги до ворот.

Двадцать два. Вчера было двадцать.

Глава 8

Через два дня после того, как Ерофей отнёс свою бумагу, я пошёл искать свидетелей.

Бумага была про бесовское знание. Поп приходил во вторник, стоял у лётки, смотрел, как я мешаю шихту, и спрашивал, крещён ли я. Я сказал, что крещён. Он спросил, сколько лет пощусь. Я сказал, что не считал.

Фрол отвёл его к воротам и сказал ему что-то короткое. После этого поп ушёл и не вернулся.

Двор с того дня стал тише. Со мной здоровались раньше, чем я поднимал голову, и смотрели мимо. Гордей приносил мне кашу первым, хотя моя каморка дальше всех.

Это было хуже попа.

Мне нужен был не Фрол. Мне нужны были свидетели.

Немец поставил четыре условия. Три я мог выполнить сам: подписать книгу, стоять у печи, не валить на него перед дьяком. Четвёртое — чтобы Фрол сказал вслух при свидетеле — я выполнить не мог.

Свидетелей не зовут. Их ставят.

Я считал, кого ставить. Шварц — мастер, чьё это условие; без него слово Фрола пустое. Ерофей — книга: он один на дворе умеет записать так, что запись переживёт нас обоих. Гордей — двор, двадцать лет у печи, и его «видел» весит больше моего «говорю». И Тит, который первым скажет «деды так лили».

Четверо — это уже не подмастерье. Четверо — это двор.

В сарае у немца скребло, как всегда. Он не обернулся.

— Фрол будет?

— Будет. У печи, в третьем часу.

Он вынул резец и посмотрел на кромку.

— У печи, — повторил он. — У печи я не гость.

— Он скажет вслух.

— Скажет тихо — я не услышу.

— Скажет громко.

Шварц вставил резец и стукнул колотушкой по клину. Клин пошёл на волос. Больше он ничего не сказал, и это у него значило «да».

Ерофей сидел в приказной избе и переписывал лист набело. Чернильница висела у него на поясе, книга лежала под рукой, как щит.

— За книгой пришёл. — Он не поднял головы.

— За тобой. В третьем часу, у печи, с книгой.

— Это дороже, и книгу по двору я не ношу.

— Сегодня понесёшь.

Он дописал строку и поставил перо.

— Что я напишу?

— Что было.

— Было то, что подмастерье собрал мастеров и велел лить по-своему. — Он посмотрел на меня. — Так и напишу. В книге будет две строки: одна про припуск, другая про тебя.

— Пусть будет две.

Ерофей достал из-за пазухи другой лист, сложенный вчетверо.

— А третья будет про то, что рука на припуске твоя. — Он положил лист на стол. — Понеже я человек приказный, а не литейный. Мне за чужой чугун не отвечать.

— Пиши три.

Он придвинул лист ближе.

— И ещё. После той бумаги ты на дворе. Я думал, тебя уже нет.

— Пока.

— Вот и я думаю: пока.

Он спросил, что я скажу дьяку. Ствол целый, а на вес — стружка в шихте. Где стружка, я покажу яму.

Гордей набивал форму в дальнем углу и слушал молча. Когда я сказал про свидетелей, он поставил лопату и вытер руки о передник.

Он спросил, будет ли Фрол. Будет.

— Оно, батюшка, так-то оно так. — Он покосился на дверь. — Только перед отливкой поперёк двора не ходят. А ты хочешь, чтобы Фрол через печь перешёл.

— Мне не надо, чтобы он переходил. Мне надо, чтобы он сказал.

— Скажет — не перескажешь. — Гордей взял лопату. — Ладно. Приду. Только ты на меня не гляди, когда он скажет. У меня лицо видно.

Тит лил у второй печи двадцать лет. Я нашёл его за опоками: он подрезал литник, и топор у него ходил коротко, как по дереву.

— Слышал, мастеров собираешь.

— Зову.

— Подмастерье зовёт мастеров. — Он стукнул обухом и отвалил литник. — Ну, зови. Приду поглядеть, как тебя Фрол учить станет. При всех-то виднее.

К третьему часу я поставил у печи стол. На стол положил чушку-свидетеля от прошлой плавки, ту, у которой излом серый и мелкий. Гордей принёс её сам и поставил на середину, как ставят хлеб.

Ерофей пришёл первым. За ним Шварц, в чистой рубахе, без передника, будто шёл не к печи, а к обедне. Потом Тит. Гордей встал у стены и держал лопату, будто она держала его.

В сарае пахло холодной глиной и перегорелым маслом. Свет из двери лежал на полу полосой, и в полосе стояла пыль.

Фрол пришёл в третьем часу, один, без рогаточных. В дверях он остановился и пересчитал всех глазами, по одному, как считают шихту.

— Кто велел собраться?

— Я.

— Тебе не по чину. — Он сказал это ровно, без угрозы, как говорят про чужую шапку.

Я знал, что не по чину.

Фрол прошёл к печи, взял чушку и повернул разломом к свету. Спросил, что это.

— Свидетели. Того, что ты скажешь.

Он поставил чушку на стол. Стук вышел глухой.

— Разойдись. — Он не глядел ни на кого.

Никто не двинулся. Тит переступил с ноги на ногу и остался. Ерофей прикрыл книгу ладонью. Гордей смотрел в пол. Фрол повторил, и я ответил, что они слышали и им решать.

— Им решать? — Фрол повернулся. — Двором подмастерье не командует.

— Печью.

Фрол посмотрел на печь, потом на меня. Он не повысил голоса. Он считал.

— Печь моя.

— Твоя. Я в ней стою.

— Двадцать лет я у этой печи. — Он кивнул на Тита. — Он меня слушает. Тебя не услышит.

— А мне его руки нужны. Не для того я его двадцать лет учу, чтобы потом бить.

Спорить было не о чем. Он говорил правду про двор, а я про печь.

Я просил не двор, а одну отливку и одно слово.

— Слово моё.

Я сказал, что подпишу его слово — пусть только скажет.

— Подпишешь. — Фрол обернулся к Ерофею. — По книге кто ответчик?

— Понеже кто руку приложил, тот и ответчик, — Ерофей приоткрыл книгу. — А рука его.

— Значит, рука моя и ответ мой.

— Ответ мой. Двор мой. — Фрол положил ладонь на стол. — Я за него перед приказом стою, не ты.

— Чем ответишь? — спросил он.

— Головой.

— Голова одна. Пудов будет сорок. — Он не отводил глаз. — И двор будет смотреть, как ты её кладёшь.

Я ждал. Второго довода у него не было, и он это знал.

Я сказал, что тогда пусть ставит своего старшего, а я стану под ним.

Фрол молчал. Я видел, как он перебирает людей: Тит, Гордей, двое за дверью. Он перебрал всех и ни на ком не остановился.

— Тит, — позвал он наконец.

Тит поднял голову и перевёл глаза с печи на книгу.

— Стань у печи вместо него.

— У меня шестеро. — Он не двинулся. — Мне под такую книгу не стать.

— Я тебе не про книгу.

— А я тебе про шестерых.

Фрол отвернулся. Он стоял так долго, что Гордей переложил лопату из руки в руку.

— Пиши. — Он повернулся к Ерофею. — Старшим у печи на сей срок — подмастерье Никита Гаврилов.

Ерофей развернул книгу и сказал, что старшего у печи по штату не положено.

— Положи.

Ерофей окунул перо и начал писать. Перо скрипело, как мышь в соломе.

Фрол выпрямился.

— Слушайте все! — Фрол поднял голову, и в сарае стало слышно, как шипит уголь. — Никите Гаврилову лить с припуском, по расчёту, какой мастера положат. Лишние пуды вернуть в печь стружкой, чтобы счёт сошёлся. Ответ по книге — на нём.

Он помолчал.

— Голос мой, лицо его. Слышали?

— Слышали. — Гордей держал лопату обеими руками.

— Слышал. — Шварц не сходил с места. — Скажи ещё раз.

— Дважды не говорят.

— Скажи в третий, и я поверю.

— Лить с припуском. По расчёту мастеров. Лишние пуды — стружкой.

— Верю.

Фрол повернулся ко мне.

— Четыре пуда лишних — четыре гривны.

— Стружка вернётся.

— Вернётся — гривен нет. Не вернётся — вычту.

Он пошёл к двери и в дверях остановился.

— Сколько снимать — положите сами. Мне пуды. Позовёте на излом.

Дверь за ним хлопнула не сразу: он придержал её и закрыл тихо.

Шварц подошёл к столу первый.

— Четверть — много. Я снимаю восьмую за проход: четверть — два прохода, и ствол в стану шесть дней.

Он взял уголёк и провёл на доске две черты.

Восьмая — один проход, и второй ствол я лью сам. Я стукнул пальцем по доске: стержень всплывёт на восьмую, с одного боку я сниму ноль, и точить придётся стенку, а не дуло.

Шварц посмотрел на черту и не стёр её.

— Тогда стержень надо держать, а не закладывать припуск.

— Держи.

— Чем? Дерево горит.

— Чугунными жеребейками, три штуки, по стенке.

— Чугун в чугун даст спай. — Он покачал головой. — Я видел такой спай, он идёт в трещину.

Спай срежет резец. Я взял у него уголёк и провёл по доске: жеребейки ставим в трёх местах и выводим заподлицо, стержень — на железном пруте, пустой, набит песком, прут выйдет за знак.

— И кто будет держать прут? Руками?

— Ломом. Четверо на мехах, двое у жёлоба — столько у меня будет людей.

— У меня двое и я. — Он загнул палец. — Четверых не будет.

— Будут. Я позову с дальнего сарая и научу держать мех. Это не точить.

Шварц усмехнулся коротко, без веселья.

— А форма?

— Двое суток у лётки. Первые сутки малый жар, вторые побольше.

— Треснет. — Гордей не отошёл от стены. — Глина на песке трескается, я это видел.

Я сказал, что обмажем шов глиной с золой, а отпадёт — увидим на изломе.

— Стенка на три восьмых, — Шварц положил уголёк. — Усадка тянет стенку, и я должен знать, сколько снять. Если дуло поведёт больше четверти — ствол в переплав, а не в брак.

— Стенка на три восьмых, дуло на четверть. Договорились.

Шварц взял уголёк и написал на доске: дуло — четверть, стенка — три восьмых. Ерофей переписал это в книгу и пододвинул мне перо.

Перо было чужое, конец обкусан. Я написал: Никита Гаврилов. Буквы вышли ровные, и под ними осталось место, а Ерофей вписал в это место: «своею рукою».

Форму сушили двое суток. Первые сутки она стояла у лётки, где тепла на руку. Вторые — ближе к печи, где тепла на две. Гордей обмазал шов той же глиной с золой, и глина взялась коркой, как на горшке.

На третье утро я постучал по опоке костяшкой. Звук был ровный, глухой, без дребезга.

Шихту заложили по весу: шесть пудов руды, тридцать фунтов извести, пятнадцать пудов угля. Я считал вслух, и Ерофей писал за мной, потому что так было положено.

Лили в шестом часу, когда стемнело. На мехах стояли двое парней из соседнего сарая. Гордей был у лётки с пробойником. Шварц — у формы. Митька держал фонарь, потому что фонарь не тяжесть.

Он пришёл сам, хотя его не звали, и поджал пустой рукав под ремень. Я не стал его гнать: он видел эту печь больше, чем я.

— Выше. — Я поднял руку. — Свети в литник и не тряси.

— Я не трясу. — Он поднял фонарь одной рукой и вытянул её. — Никит. А если побежит?

— Кто?

— Чугун.

— Не побежит. Стой, где стоишь.

— Пошёл! — крикнул Гордей.

Он выбил глиняную пробку, и чугун пошёл по жёлобу — сначала тонкой струёй, потом толстой и ровной. Искры падали в песок и гасли.

Я считал вёдра. Одно. Два.

На третьем слева хлопнуло.

Я обернулся. Левый мех просел, кожа на шве разошлась, и оттуда пошёл воздух — не дутьё, а свист, тонкий, как в дудку.

— Шов! — крикнул Гордей. — Ремень ссохся на морозе!

Парни сбились с хода, и пламя над лёткой опустилось на ладонь.

— Держи шов! Доской прижми!

— Обожжёт.

— Держи!

Гордей бросил лом, схватил доску и прижал её к меху, и доска задымилась с края.

Чугун в печи стал гуще. Это было видно по струе: она шла уже не светлой, а жёлтой, и на дне жёлоба росла корка.

— Он садится. — Шварц смотрел на струю. — Надо ждать.

— Ждать нечем. Уголь сырой, второй разогрев его съест. — Я взял лом. — Льём.

— Прибыль встанет первой.

— Значит, доливаем в прибыль до последнего.

Шварц поглядел на печь и на форму, и кивнул один раз: он не спорил, когда время выходило.

Жар от лётки шёл в лицо, а со двора тянуло морозом. Спина была мокрая, затылок стыл.

Струя пошла в литник, и чугун поднялся в форме. Сначала ровно. Я стоял и смотрел на знак — на железный прут, который торчал над опокой.

Прут дрогнул и пошёл вверх на палец.

— Ведёт! — Шварц увидел раньше меня.

Я встал на опоку, зацепил прут ломом и навалился. Прут не шёл. Тогда я наступил на лом и всей тяжестью пошёл вниз. Прут подался на полпальца, потом ещё.

Правая ладонь держала лом у самого железа и жглась. Левая, с ожогом, не чувствовала ничего. Она и в мороз не чувствовала.

— Держи! — крикнул Шварц. — До края держи!

У меня в цеху опоку ставил кран, двенадцать тонн на крюке. Здесь её держали четверо и лом.

Чугун шёл в прибыль и встал у самого верха. Потом начал оседать.

— Ещё! — Я не отходил от опоки.

— Нету.

— Ещё!

Шварц вылил последнее. Прибыль поднялась, качнулась и встала.

Тишина вышла сразу, будто кто-то закрыл дверь. Мехи стояли. Один парень сел на землю, где стоял.

Мы ждали. Прибыль села на два пальца и остановилась. Значит, металл в форме ещё живой и тянет из прибыли, а не из стенки.

Форму не разбирали сутки. Я ходил вокруг и трогал песок ладонью: он был тёплый, потом горячий, потом опять тёплый.

Утром опоку раскрыли. Песок отваливался комьями, и под ним лежал ствол — тёмный, в окалине, с прибылью на конце, как пень.

От него шёл запах погашенной кузни: окалина, песок, чугун.

Ствол был целый. Ни трещины по казне, ни рвани у цапф, ни белого у дула. Я обошёл его два раза и оба раза не нашёл, за что зацепиться глазом.

Прут выбили втроём. Он вышел тугим и горячим, и на нём висели куски стержня, спекшиеся в камень.

Литник отрубили топором. Излом был серый, мелкий, без сыпи.

— Смотри. — Я поднёс излом к свету.

Шварц посмотрел и ничего не сказал. Он взял излом двумя пальцами, повернул и отдал обратно.

Гордей спросил от двери, годен ли. Годен, когда проточу.

Вес взяли на безмен. Безмен врал, и я считал по своей зарубке: сорок один пуд и десять фунтов.

Потом я взял у немца кольцо.

Пробка не пошла в казну и до половины. Канал был мал на четверть — припуск стоял там, где его положили.

У дула пробка прошла до ручки и стукнула о край. Я обвёл дуло верёвкой, отмерил стенку с двух боков и получил разницу в три шестнадцатых дюйма.

— Увод. — Шварц провёл ногтем по кромке. — Три шестнадцатых. В четверть не вышло; на восьмую он бы точил стенку.

— Значит, четверть.

— Значит, четверть.

Это было всё, что он сказал про наш спор. Больше от него ничего не требовалось.

Ствол был годен. Ствол был лучше всего, что выходило из этой печи за четыре года. И в нём не было калибра: канал отлит с припуском, а припуск — это не калибр.

— Воротом его точить четырнадцать дней, — Шварц смотрел на доску. — Двадцать стволов — двести сорок. До марта сто шестьдесят.

Я сказал, что колесом — три дня, и это не в счёт. Он повторил за мной: три.

Он поднял с полу стружку, длинную, синюю, и посмотрел на неё на свет.

— Без колеса и станины это не литьё. — Он держал стружку на ладони. — Это Wunder.

— Чудо.

— Я не верю в чудо. Я верю в колесо.

Фрол пришёл к полудню. Он посмотрел излом, взвесил ствол сам, покачал его на безмене и записал число.

Он сказал сорок один с половиной. Я поправил: сорок один и десять. Он сказал, что лишних пять пудов; я сказал — четыре с половиной, стружка лежит в яме, её на четыре пуда, переплавим и счёт сойдётся.

Фрол посмотрел в яму. Стружки там было по колено — синей, витой, чистой, без песку.

— Сойдётся.

Он обошёл ствол кругом, как обходят лошадь.

— Фрол Савельич, — Шварц подошёл к нему. — Я говорил. Без колеса это чудо.

— Чудес мне не надо. — Фрол не обернулся. — Мне пушки. Когда точен?

Я не успел ответить. В дверях стояла Аксинья с ведром и счётом в руке.

— Колесо у Осипа. — Она стояла в дверях. — Я сходила.

— И что?

— Пятнадцать рублей, в долг не даёт. Мельница не его — оброчная, Козьмы.

Она поставила ведро на пол.

Я сел на опоку. Опока была ещё тёплая.

— Приказчик Козьмы был у него вчера. — Аксинья держала счёт в руке. — Спрашивал, зачем подмастерью колесо. Осип сказал, что не знает. — Она развернула счёт. — За постой с тебя рубль с полтиной. За полотно Митьке я не считаю.

— Пятнадцать рублей.

У меня было сорок копеек. Жалованья — два рубля в год, и вперёд не дают.

Продавать было нечего.

— Есть кафтан. — Аксинья посмотрела на меня. — Стоит рубль.

Я сказал, что останется четырнадцать.

— Четырнадцать. — Она подняла ведро. — Я и то лучше считаю. А где возьмёшь, я не знаю, и ты не знаешь. Ешь. Каша стынет.

Она ушла. Фрол ушёл за ней, не сказав больше ничего. Шварц остался, сел на край ямы и свесил ноги в стружку.

За рекой мельница молола. Колесо я видел вчера, и оно вертелось. Теперь я знал, чьё оно.

Глава 9

Пробный ствол лежал на козлах, и никто на дворе не мог сказать, сколько в нём пудов.

Литник отрубили на рассвете. Срез вышел серый, ровный, без раковин, и Шварц провёл по нему ногтем, будто проверял, не мягкий ли.

— Пудов сорок, — прикинул Гордей.

— Сорок с половиной, — Трофим не сомневался.

— А ты почём знаешь? — спросил Митька.

— По рукам. Я его вчетвером носил.

Мне не нужно было «сорок». Мне нужно было сорок и сколько-то фунтов, и чтобы это число повторил кто-нибудь ещё, кроме двух стариков.

Вески стояли на приёмке, за замком. Безмен был у целовальника, и в нём три пуда, а в стволе сорок. Значит, ни то, ни другое.

Я пошёл к Фролу.

Казёнка была в углу приказной, за перегородкой. Фрол сидел над бумагами и загибал на каждой уголок.

— Мне нужны вески, — сказал я. — И гиря. Ствол взвесить, и руду, и уголь, и известь — всё, что кладут в печь.

Он отложил бумагу и посмотрел на меня так, как смотрят на счёт, в котором не сходится последняя строка.

— В указе что? — спросил он.

— Двадцать стволов.

— Двадцать стволов и восемьсот пудов. — Он поднял палец. — Дьяк считает пуды, а не стволы. Ему ствол и чушка — одна цена, был бы вес.

— Тогда и нам надо считать пуды.

— Нам надо сдать пуды. Считать — дело подьячего.

— Подьячий пишет то, что ему сказали.

За перегородкой скрипело перо. Фрол долго молчал, и я слышал, как за стеной возят тачкой уголь.

— Мера твоя. — Он наконец поднял глаза. — Пока пуды сходятся. Разойдутся — мера моя, и по ней я тебя взвешу.

— Сойдутся.

— Все так говорят. — Он вынул из-за пояса два ключа и положил на стол, один к одному. — Гиря под двумя замками, один мой, другой казённый. За неё я отвечаю головой. А ты хочешь из неё чушек наделать.

— Не из неё. По ней. Мне её не носить, мне её видеть.

Фрол посмотрел на ключи, потом на меня, и я видел, как он считает.

Он встал.

— Ерофей! — крикнул он в перегородку. — Пиши: выдано подмастерью Гаврилову вески и гирю, на срок, под расписку.

Перо остановилось.

— Понеже гиря казённая, — Ерофей вышел из-за перегородки, — надлежит прописать, кому, на что и на сколько.

— Пропиши.

Ерофей сел за книгу и стал писать. Писал он медленно, с наклоном головы, и губы у него шевелились. Потом прочёл вслух всё, что написал, вместе с «понеже» и «того ради», и подвинул мне перо.

Я подписал. Рука уже не дрожала, как в первый день. Это было единственное, что за два месяца стало легче.

Гиря лежала в сундуке, на пакле. Чугунная, с ушами, и на боку орёл с распущенными крыльями, а под орлом год — 1701.

Я взял её обеими руками и чуть не выронил. Пуд — это пуд. В нём сорок фунтов, и все они тянут вниз.

Вески были деревянные: коромысло дубовое, с железными подушками, и две чашки на трёх цепях. На подушках блестело до железа — там, где качалось.

— По алтыну с записи, — Ерофей дождался, пока Фрол выйдет. — За письмо. Бумага моя, чернила мои.

Он спросил, сколько будет записей в день. Я сказал: тридцать. Он улыбнулся одними губами.

— Тогда тридцать алтын.

Я посчитал. Тридцать алтын — девяносто копеек. В месяц — двадцать семь рублей. Моё жалованье — два рубля в год.

— Ты дорого берёшь.

— Я беру дешевле, чем стоит ошибка в книге.

— А ежели записей будет две? Одна на партию. Утром и вечером.

— Тогда я не узнаю, что в партии. — Он прижал книгу к боку, как щит. — Мне надобно знать, кто закладывал, сколько, чего и когда.

— А тебе не надобно знать. Тебе надобно записать, что прочли вслух.

Ерофей закрыл книгу. Это он делал так, как дверь закрывают.

— Книга — не доска. — Он постучал по обложке. — На доске пишут мелом, и всякий сотрёт.

— На доске режут зарубки. Их не сотрёшь.

Он хотел ответить, но в дверях стоял Фрол и слушал.

— Пусть будет доска, — сказал Фрол. — Счёт для памяти, при печи. А книга — его.

— И что на доске, то и в книге.

Фрол посмотрел на Ерофея.

— Что на доске, то и в книге, — повторил он. — А ежели в книге иное, я спрошу с того, кто писал.

Ерофей поклонился. Поклон был короткий, но спина при нём не гнулась.

Гири я отлил из стружки.

Стружка лежала в яме под станом, чистая, без песку, и её было на две лопаты. Я взял половину, переплавил в малом горне и вылил в песок четыре гири по пуду, одну на двадцать фунтов и две по фунту.

Фунт — это гривенка. В фунте девяносто шесть золотников, и золотник мал так, что на ладони его не видно. Это я знал, а на дворе не знали. На дворе знали ведро.

Гири вышли серые, с усадочной ямкой сверху. Заусенцы я обрубил зубилом.

Потом положил казённую на левую чашку, а свою — на правую. Моя перетянула, а когда я поменял их местами, перетянула казённая.

Гордей смотрел на чашки и молчал, а Трофим сказал, что обе мои гири врут.

— Не они. Коромысло. — Я показал на подушки. — Одно плечо длиннее другого. Оттого и выходит врозь.

— И как ты узнаешь, сколько в стволе?

— Дважды вешают. Сперва так, потом наоборот, и берут середину. — Я снял гири. — А свою гирю правлю по казённой, пока она в обе стороны не станет.

— Подпилком. — Трофим усмехнулся. — Казённую?

— Свою. Казённую не трону.

Он отошёл на два шага и оттуда сказал:

— Ну-ну.

Вагу я делал три дня.

Коромысло взял берёзовое, сухое, в три аршина, выдержанное под навесом с зимы. На одном конце крюк на железной обойме, на другом противовес — пудовая гиря на ремне, чтобы ходила по плечу.

Разметил по казённой: повесил пуд на крюк, двинул противовес, поймал равновесие, резанул зарубку. Потом два пуда, четыре, восемь.

Зарубки легли ровно. Восемь пудов, шестнадцать, тридцать два — и дальше по тому же шагу, до сорока.

Гордей спросил, что будет, ежели я ошибся. Я сказал: проверка на пуде. Перед каждым весом вешаю пуд, и, ежели на пуде не сошлось, вага брошена.

Шварц обошёл вагу и сказал, что в Гарце такую зовут безменом для возов.

Ствол взвесили к вечеру. Его подняли на крюк вчетвером, и козлы под ним треснули. Я вёл противовес по плечу, пока коромысло не встало.

— Сорок пудов восемь фунтов. — Я держал коромысло.

— Восемь? — Шварц загнул палец. — Стружка уходит в песок, два фунта на пуд. Может, три. Выйдет меньше припуска.

Я посчитал вслух, потому что иначе сбивался. Припуск — четыре пуда восемь фунтов, сто шестьдесят восемь фунтов. По два фунта на пуд уйдёт в сор, восемь фунтов, и назад вернётся сто шестьдесят. До полного припуска не хватит восьми.

— Значит, лить на сорок пудов пятнадцать, — сказал я.

— Тогда ствол тяжелей на пуд. И Фрол спросит, где пуд.

— Пуд в стружке.

— Пуд в соре. — Он пошёл в сарай.

Утром я велел закладывать по весу.

Сказал коротко, у печи, при всех: руда — пуды, уголь — пуды, известь — фунты. Всё, что идёт в печь, вешается до печи. Зарубки на доске режет Митька, читает вслух он же. Под счётом две руки: одна от закладчиков, другая от приёмки.

Трофим поставил лопату к стене.

— Деды так лили, — сказал он.

Печь гудела. Двое у мехов перестали дуть, и огонь сел, и в сарае стало тише.

— И деды рвали.

— Деды не рвали. Деды лили по ведру, и стволы ходили по сорок лет.

— По ведру у тебя в ведре что?

— Руда.

— А в руде что?

Он не ответил.

— Песок. Оттого ведро и тяжёлое. — Я взял два ведра и поставил рядом. — Одно ведро двадцать восемь фунтов, другое тридцать четыре. Ведро одно, а руда в нём разная. Ты кладёшь тридцать четыре, думаешь, добрая. А в ней восемь фунтов песку.

— Вон твоя мера, — сказал я. — Ведро.

Трофим смотрел на вёдра, и рука у него была на лопате.

— Ты нас по этой мере в брак посадишь, — сказал он.

Он сказал это не громко, но так, что у мехов опять перестали дуть.

— Сказывай.

— Что сказывать. Я на дворе тридцать лет. Я лил, когда тебя не было.

— Дальше.

— Дальше Оноху помнишь? — спросил он у Гордея.

Гордей кивнул.

— Не помнишь ты. Тебя тогда не было.

Он говорил ровно, как читают по складам, и смотрел не на меня, а на печь.

— Лет десять тому. Сто пудов на приёмке, а вышло из них девяносто семь. Три пуда недобор. Оноха льёт, у Онохи руки золотые, а трёх пудов нет. Положили его на козёл у приказной, при всех. Двадцать плетей. А после — в брак, и хлеба ему не выписали.

— И что с ним?

— А ничего. Он зимой пошёл по дворам, и его в Туле больше не видали.

— Он крал?

— Он не крал. — Трофим повернулся ко мне. — Он лил из того, что дали. А недобор написали на него, потому что больше не на кого было.

— То и говорю. По ведру недобор пишут на того, кто лил. По пуду напишут на того, кто привёз.

— А кто поверит?

— Тот, кто видел вес до печи. Двое видели — двое и подписали. — Я показал на доску. — Здесь зарубки, а не слова. Зарубку нельзя написать красиво.

Трофим молчал. У него были красные руки и худые пальцы, и он держал лопату так, как держат за руку.

— Мне сорок восемь. — Он выпрямился. — Я не подниму, что поднимал в тридцать.

— И не надо.

— Надо. У меня дочь на дворе, двое ребят, и оба едят. Ежели я в брак — они пойдут по миру.

Вот и вся их правда. Не «деды», не упрямство и не тёмность. Хлеб.

Я стоял и считал: ежели счёт читают вслух при шестерых и под ним две руки, то одна рука его не посадит. Для этого и нужна вторая.

— Кто закладывал?

— Я. И Ондрюшка.

— Вот две руки. Твоя и его. — Я подошёл к доске. — Зарубки режут при вас. Счёт читают при вас. Вес известен до печи. Ежели после печи вес не тот, виноват не тот, кто закладывал, а тот, кто привёз.

— А ежели печь?

— Печь тоже считается. Шлак весим. Что ушло в шлак, то не ушло в ствол, и это не твоя вина.

Трофим долго смотрел на доску. Потом взял лопату.

— Я не умею по весу.

— Я покажу.

Он не двинулся.

— Деды так лили, — сказал он в третий раз, и это было уже не про дедов.

Он ушёл к сушилу. За ним ушли ещё двое.

Печь стояла пустая, и в сарае стало слышно, как за стеной скребёт метла.

— Пойдём, — сказал я Митьке.

Он взял доску под левую руку, а мел — в карман. Правой у него не было.

Мы заложили сами. Я вешал руду на вагу и называл вес, Митька резал зарубку и читал вслух: четыре пуда тридцать шесть фунтов руды, двенадцать вёдер угля — двадцать пудов, двадцать фунтов извести. Он резал левой рукой, и зарубки выходили косые. Я не поправлял.

Уголь был мёрзлый и шёл комьями. Я разбивал его колотушкой и вешал снова: двадцать пудов, а по ведру вышло бы двадцать четыре, и четыре пуда были порода, которая не горит и ест место.

Плавка шла долго. Струя у лётки была тонкая, потому что дутьё шло слабое и уголь дымил.

К полночи мы вынули пробную чушку и разбили её на наковальне. Излом был серый, мелкий, без сыпи.

Трофим стоял в дверях и смотрел на излом через плечо Митьки. Ничего не сказал, ушёл.

Утром он пришёл первым и встал у ваги.

Гиря пропала на третью ночь.

Я оставил её на весках, под навесом, накрытую рогожей: уносить в каморку было далеко, а замок в казёнке — фролов.

Утром на подушке лежала только рогожа. Коромысло висело косо: язычок был согнут вбок, а по подушке шла трещина, будто по ней били.

— Искать будем? — спросил Гордей и перекрестился.

— Нет.

— Как нет?

— Виноватый уйдёт, а порядок останется. — Я снял коромысло с крюка.

Гиря нашлась к полудню. Митька таскал песок из кучи и наткнулся на неё лопатой, в сажени от весков, в самом низу, где песок сырой.

Он притащил её на руках, обтёр рукавом орла и поставил на чашку.

— Она тяжёлая. Я думал, легче.

— Пуд.

Я поставил гирю на место и не стал спрашивать, кто её закопал. В сажени от весков её мог спрятать любой, и всякий на дворе это знал.

К вечеру я сделал три вещи.

Первое: отлил ещё две гири и на каждой выбил клеймо — косой крест и две буквы. Одну оставил у Фрола в казёнке, вторую отдал Трофиму, третью держал при себе.

Фрол спросил, зачем три. Я сказал: одну украсть можно, а три, которые сходятся между собой, украсть нельзя. Придётся красть все, и тогда пропажа видна.

Второе: велел напилить берёзовых бирок, в ладонь, и на каждой партии резать зарубки насквозь, а потом колоть бирку надвое через зарубки, чтобы половинки сходились только свои.

— Одна половинка у старшего от партии, — сказал я. — Другая в казёнке. При приёмке кладут рядом. Не сошлись зарубки — партия не в счёт.

Гордей спросил про половинку: а ежели старший её потеряет. Я сказал: тогда партия не в счёт. За бирку отвечает тот, кто её носит.

Третье: велел весить готовую шихту. Не только то, что в неё кладут, но и то, что из неё вышло на полу.

Это и поймало песок.

Шихта лежала в куче под навесом, готовая, на две плавки. Я взвесил её на ваге: пятьдесят два пуда двенадцать фунтов.

Потом сложил по доске: руда девять пудов тридцать два фунта, уголь сорок пудов, известь один пуд. Вышло пятьдесят пудов тридцать два фунта.

Разница — пуд с половиной.

Я пересчитал дважды, потом взял горсть из кучи и растёр на ладони. Под пальцами скрипнуло.

— Песок, — сказал Митька. — Из руды?

— Из руды не бывает. Руду вешают до закладки, зарубки при свидетелях. Песок сыплют после.

— Кто?

— Тот, кто знал, что я взвешу.

Я высыпал песок обратно. На ладони остался серый налёт и две крупинки, которые не стирались.

Партию пришлось переложить заново, а это полдня и две телеги угля. Шестеро стояли вокруг и смотрели, как я разбираю их работу руками.

— Ты бы лучше искал, — Ондрюшка стоял ближе всех.

— Мне не нужен виноватый. Вам нужен вес. По весу видно, что песок не ваш.

Трофим понял: он снял шапку, вытер лоб и надел обратно.

— По весу видно. — Он смотрел на доску. — А по ведру не было видно.

— Не было.

— И Онохе не было видно.

— И Онохе.

Он постоял, потом взял у Митьки доску и стал резать зарубки сам. Резал он ровнее мальчика.

Полтора пуда песку не стали чугуном. Они ушли в шлак или в стенку. Ежели в стенку — стенки нет.

Я пошёл к Шварцу.

Он точил пробный ствол вторые сутки. Ворот ходил туго, стружка шла синяя, и в яме её было уже на четыре лопаты.

— Стой. Сколько снял у дула?

— Восьмую и ещё четверть восьмой. Дальше считаю сам. — Он отпустил ворот.

— Проверь стенку. В шихте было полтора пуда песку, а песок чугуном не становится.

Шварц взял калибр и щуп — железную пластину, которой меряют зазор, — и выругался по-своему, коротко. Потом ударил колотушкой по клину.

— Тогда я точил зря.

— Тогда ты точил пробу. На то она и проба.

Он снял ещё на волос и велел прийти к утру.

К вечеру пришла Аксинья.

Она принесла доску — не мою, а свою, длинную, в два локтя, с зарубками по краю в три ряда. На ней было всё: хлебы, крупа, соль, сколько ушло на котёл и сколько осталось.

— Считай, — сказала она и поставила доску на кадку.

За ней в приказную вошёл Ерофей.

— Чего ради?

— Вёдра считаны, а котёл нет. — Аксинья не подняла глаз от доски. — Котёл кормит казённых.

Ерофей посмотрел на доску, потом на неё.

— Понеже баба не свидетель. — Ерофей не смотрел на неё.

Аксинья не сдвинулась.

— Я тебе не свидетель. Я тебе счёт. — Она провела пальцем по ряду. — Тридцать два ведра руды принято. Восемнадцать хлебов на двор. Семь фунтов соли. Всё.

— В книгу не пойдёт.

— Пойдёт, — сказал я.

Ерофей обернулся.

— По какому указу?

— По тому, что счёт верный. — Я взял доску и поставил её перед ним на стол. — Читай вслух.

Он не читал. Он стоял и смотрел, как Аксинья переворачивает доску и ведёт пальцем по второму ряду, и как Митька заглядывает ей через локоть и шевелит губами.

Тогда я пошёл за Фролом.

Фрол пришёл, сел, послушал. Слушал он недолго.

— Счёт верный? — спросил он у Ерофея.

— Понеже баба…

— Я тебя не про бабу спросил. Счёт верный?

Ерофей помолчал.

— Верный.

— Тогда пиши. — Фрол встал. — Счёт её принимаем при двух свидетелях. Один читает, другой подписывает крестом. И ты подписываешь, что слышал.

— Понеже…

— Мне пушки надобны, — сказал Фрол. — А не свара.

Он ушёл. Ерофей сел, раскрыл книгу и начал писать. Писал он и читал вслух — так, чтобы все слышали, как он пишет. И вышло у него не «счёт вдовы Аксиньи», а «по сказке вдовы Аксиньи, за свидетелями, что слышали».

Слово «сказка» он произнёс дважды.

Аксинья стояла у стола и слушала.

— Муку по счёту, — сказала она. — Половину того, что за неделю, сейчас. Я тебе счёт, ты мне муку. Не за спасибо.

Фрол из-за перегородки сказал:

— Выпиши.

Митька держал бирку и читал зарубки вслух до самого вечера, и голос у него садился.

В сумерки приехал воз.

Я услышал его от печи: телега шла по мёрзлой колее, и на ней гремело железо.

Воз стоял посреди двора, и с него снимали рогожу. Под рогожей лежала руда.

Она была не такая, как всегда. Не бурая, с песком и с сыпью по краю, а тёмная, тяжёлая, с масляным блеском на изломе. Я взял кусок и растёр на ладони: под пальцами не скрипнуло.

— С первого воза, — сказал приказчик. — Козьма Афанасьевич кланяться велел. На двор, даром.

Гордей перекрестился. Ондрюшка взял кусок и понюхал.

Приказчик сказал: сорок два пуда. Я взвесил: сорок два пуда восемь фунтов. И в этой руде не было песку, и я это знал по руке раньше, чем по весу.

Трофим стоял рядом и смотрел на воз.

— Вот бы такую всегда, — сказал он.

Я пошёл в приказную. Там горела свеча, и Ерофей сидел над книгой и дописывал.

— Вписал?

— Вписал.

— Как?

Он поднял голову и посмотрел на меня поверх свечи.

— Принято сорок два пуда восемь фунтов руды, — сказал он. — В счёт прежнего.

Я стоял и смотрел на строку.

— В счёт какого прежнего?

Ерофей опустил глаза к книге и ничего не ответил.

Я взял у него книгу.

Глава 10

Мокей ждал у наших ворот затемно, с кнутом за поясом.

— Козьма Пятый велел проводить, — Мокей поправил кнут за поясом. — Чтоб не заплутал.

— Я дорогу знаю.

— А я всё одно провожу.

Он не пошёл ни впереди, ни рядом. Держался на шаг сзади, и я слышал его дыхание за плечом. Ночью ударил мороз покрепче первого, дорога взялась коркой, и в колдобинах лёд стоял мутный, с пузырями внутри.

Двор Козьмы был не двор, а слободка за слободой. Два амбара под тесом, третий недостроен, конюшня на восемь стойл, кузня с горном, весовая под навесом и в глубине — счётная изба, в два окна, с трубой.

Я считал шаги до поворота и на восьмисотом сбился.

— Тут не считают. — Мокей не обернулся. — Тут слушают.

У ворот на цепи ходил пёс ростом с телёнка. Он не лаял, только встал и проводил нас глазами, повернув голову вровень с хребтом.

На весовой стояли весы с коромыслом и ящик с гирями. Гири были чугунные, вытертые по бокам, где их берут рукой. На трёхфунтовой шла выточка, залитая свинцом, и свинец был светлее чугуна.

Я посмотрел на неё и пошёл дальше.

Двадцать лет я принимал руду и чугун от восьми поставщиков. Ни один не начинал с честной гири. Все начинали с того, как трудно ноне живётся, и все кончали тем, что весы — дело казённое, а гири казённые.

Под навесом лежала руда. Её разделили досками на два сорта, и сорта были разные, как разные породы.

Левый — рыжий, крупный, с блеском. Правый — серый, с землёй и с мелкой пылью. Я взял из левого горсть.

Она потянула руку вниз, легла на ладонь тяжело, и на пальцах остался рыжий мазок. Песку в ней не было.

Значит, чистая у него была. Всё это время была.

— Глядишь? — Мокей остановился рядом. — Тут глядеть не велят. Иди.

На дворе работали девять человек, и ни один не поглядел на меня прямо. Возчик волок мешок к амбару, баба выносила из кузни окалину, мальчишка гонял гусей от весовой. Все они видели, как я иду, и все смотрели мимо.

Козьма вышел на крыльцо без шапки, в суконном кафтане, и от него шёл запах мёда и лошади — тот же, что в приказной избе.

— А вот и гость! — сказал он ещё с крыльца. — А я думал, не придёшь. Садись, милый.

Стол стоял под навесом, накрытый полотняной скатертью. На столе был пирог с рыбой, щи в большой чашке, гусь, мёд в ставце и сулейка с вином.

— Ешь. — Козьма сел напротив. — Ты худой. Двадцать рублёв в год тебе давали, а кормили как сироту.

Я сел и взял пирога. Ел я потому, что считать на голодный желудок хуже, чем на сытый. Козьма смотрел, как я ем, и был этим доволен.

— Мёду возьми. Липовый, я его не продаю.

— Мёду не надо.

Козьма поглядел на Мокея и засмеялся.

— Гордый. — Он отрезал себе гуся. — Ну, сказывай.

— Руда у тебя с песком.

— Сказывал уж, — он не поднял глаз от гуся.

— Я не про то. — Я положил пирог. — Под навесом у тебя два сорта. Левый — чистый. Ты его возишь не мне.

Козьма поднял брови и поглядел на Мокея, будто искал у него поддержки.

— Возят, — согласился он. — В Дубну, на заводы. Там за пуд дают больше.

— А нам — правый.

— А вам — правый. — Он развёл руками. — Так писалось не мной.

Я спросил, кем писано.

— Дьяком, милый. И мастером. — Козьма отпил вина. — Ты не первый. До тебя был Яким, при печи стоял. Тоже считал, тоже в ковш глядел. Ноне его в Туле нет.

Я спросил, куда он делся.

— На Урал. По указу. — Он поставил чарку. — Всё по указу, милый.

Писец сидел на краю лавки с доской на коленях и писал не в книгу, а на отдельные листы. Листы он складывал под доску, и стопка была уже в палец.

На столе лежала книга в кожаной обложке, толстая, с закладками из лыка. Такая же, как у нас в сарае, только вдвое толще. У нас в неё писали, у него в ней считали.

— Слушай меня. — Козьма поставил чарку. — Ты малый не глупый, и я с тобой буду не как с дураком. Я стану возить чище. Сеять буду, просевать, всё как скажешь. А в книге запишем по старому: «принято по старой мере, явилось годно».

— И подпись моя.

— Твоя. — Он кивнул. — И десятую долю с поставки тебе. Считай: две тысячи пудов в зиму — двести пудов твоих. По шесть копеек — двенадцать рублёв. Ни за что, милый. За одну подпись.

— За ложь.

— За покой, — сказал Козьма мягко. — Ерофей Тимофеич бумагу пишет. Про бесовское. Ты про то знаешь, и я знаю, и Фрол Савельич знает. Бумага пойдёт в приказ, оттуда приедет целовальник. А я его успокою.

Он подождал, что я скажу. Я молчал.

— Тебе девятнадцать. — Козьма положил нож. — В книге что написано, то и правда. Напишем «годно» — и годно. Через десять лет спросят не про пуд, а про книгу.

Я посмотрел на его руку. Рука лежала на скатерти, мягкая, в перстне, и палец постукивал по краю стола — не от нетерпения, а так, для себя.

— Нет.

Козьма перестал постукивать.

— Нет?

— Подписи не будет.

— Отчего?

— За брак отвечает подпись. — Я подвинул к себе чарку, хоть и не пил. — Я ставлю её под числом. Под словом не поставлю.

— Все ставят.

— Пусть ставят. — Я показал на его правую руку, где не хватало двух пальцев. — Это не от ножа.

Козьма поглядел на руку и усмехнулся.

— Литок был. Молодой был, в изложницу полез.

Я спросил, что ему сказали.

— Сказали: не твоё дело. — Он сжал руку в кулак. — Двадцать лет прошло, а помню.

— Изложница — малое. — Я не отводил глаз от его руки. — Ствол — двадцать пудов и двое людей рядом.

Козьма смотрел на меня долго, и лицо у него было не злое. Он как будто прикидывал цену.

— Ну, — сказал он. — А что ты дашь?

Вот тут и надо было говорить. Я эту речь держал в голове с той ночи, как он уехал от приказной избы, и всю дорогу до его двора прикидывал числа.

— Сеять будешь не у себя, а на карьере, при забое. Просеял — счёт: сколько взял из забоя, сколько прошло через решето, сколько осталось в хвостах.

Козьма спросил, кто станет считать.

Свидетель от двора: один человек, при весах, не при работе. Ему не надо ничего делать, ему надо глядеть. Я положил ладонь на стол.

Козьма повторил это слово, и в голосе ничего не переменилось.

За очистку он возьмёт дороже: чистую руду и в Дубне возьмут дороже, и я возьму дороже. Две копейки на пуд я обещал прибавить сам.

Козьма усмехнулся.

— Два копейки. Мне песок дороже стоит.

— Считаю. — Я взял со стола нож и провёл черту по скатерти. — Сто пудов, четверть — хвосты, двадцать пять. По шесть копеек — рубль пятьдесят за песок. Теперь семьдесят пять по восемь — шесть рублёв. Двадцать пять хвостов двору на формы, по копейке.

Он сказал, что двору его песок не надобен.

Надобен. Формы набивают сырым, а его сухой, речной, лучше нашего. С тысячи пудов — двести пятьдесят хвостов, по копейке — два с полтиной. За зиму это его деньги из оврага.

Козьма молчал.

И воз. Я провёл вторую черту. Возчик берёт с пуда, а за песок он платит как за руду и сыплет его в овраг. Четверть возов идёт в овраг: сеешь — возишь семьдесят пять вместо ста.

— А что мне с того? Возчик с пуда берёт, и я с пуда получаю.

— Получаешь. Пока берут. — Я отложил нож. — А как рванёт ствол, брак спишут на руду. Ноне в книге число стоит. Приедет целовальник, спросит: чья руда? И не меня спросит, а тебя.

Козьма взял чарку, но не выпил.

— Ты грозишь? — спросил он тихо.

Я предлагал бумагу, по которой он чист: считано при свидетеле, руда чистая — и что б ни лопнуло, лопнуло не от его руды. А песок идёт на формы, и за него платят.

— Чист. — Козьма засмеялся коротко. — Ты умный, милый.

— Не умный. Мне двадцать стволов к первому марта.

Писец перестал писать. Он сидел с поднятым пером и смотрел на Козьму, ждал.

— Пиши. — Козьма не оборачивался к писцу. — «Сеять на карьере, при забое. Свидетель от двора, при весах».

Писец заскрипел.

— Только уголь, — сказал Козьма, — будет по пяти.

Я поднял голову.

Я напомнил, что брал по три.

— Брал. — Он налил себе ещё. — Ноне по пяти. — Лес дорог, мужики дороги. Или сеять не стану.

Я считал вслух, потому что иначе сбивался.

На ствол — тридцать три пуда угля, на двадцать стволов — шестьсот шестьдесят. По две копейки наддачи — тринадцать рублёв двадцать копеек.

— Считаешь, — одобрил Козьма.

— Тринадцать рублёв. У меня жалованья два в год.

— А ты не жалованьем живи. — Он показал чаркой на писца. — Возьми долю.

— Нет.

— Ну, нет так нет. — Козьма выпил. — Уголь по пяти. Воз — после Покрова.

Я сказал, что после Покрова — это две недели.

— Две недели. — Козьма согласился легко. — Возчики на Дубне. — Он утёр усы. — А припасу тебе на две недели нет, я знаю. У тебя под навесом пудов сорок, и то с песком.

Я молчал. Сорок пудов у нас было. Тридцать восемь, если считать точно, и в них песку четверть.

— По пяти, — сказал я. — Пиши.

— Уже писано. — Писец не поднял головы.

Козьма встал, и я встал.

— А колесо тебе не надобно? — спросил он как бы между делом.

Я остановился.

— Водяное. С мельницы, что за рекой стоит, без дела. — Он повёл рукой куда-то за конюшню. — Колесо, вал, железо на станину. Сорок рублёв — и твоё.

Сорок рублёв. Я считал это колесо по ночам, когда не спалось: вал с железом — четыре, два подшипника — полтора, ремень — три, набор на станину — шесть.

Выходило сорок два с полтиной, и это без кузнеца, который выточит гнёзда, и без плотника, который поставит ларь под воду. Сорок — это цена железа. Работа шла бы сверху, а работы у меня не было ни на копейку.

Я спросил, за что.

— За долю, — сказал Козьма. — Всё за ту же долю.

— Тогда нет.

Он пожал плечами так легко, что я понял: он и не ждал.

— Ступай, милый. Воз будет в четверг. Чистый, как писано.

Четверг был на десять дней раньше Покрова. Он отдал мне то, что сам же у меня отнял, и я это взял.

Мокей проводил меня до ворот и остался стоять. Я шёл по дороге и слышал, как за спиной затворили створ.

Двадцать стволов, тринадцать рублёв наддачи, Покров впереди и сорок пудов под навесом. Я всё это сложил и получил одно: к первому марта мы не успеваем. Потом сложил ещё раз, другими числами — с чистым углём, с сухой формой, — и получилось то же самое.

У поворота стояла мельница. Колесо под ней было сухое: лоток замёрз, ларь пустой, и оно висело над землёй, повернувшись на четверть, как его оставили.

Я постоял и посмотрел на спицы. Двенадцать спиц, обод в две ладони, вал на вылете — как раз под ремень. Такое колесо дало бы четыреста оборотов, если пустить на него воду и не жалеть её.

На полдороге я сел на камень у чьей-то ограды и посидел. Руки стыли, я спрятал их под мышки. У Козьмы на столе остался гусь, и я пожалел, что не взял куска.

На дворе меня встретили молчанием.

Гордей тащил доску с формой и, увидев меня, поставил её на землю.

— Ну что?

— Уголь по пяти.

— Деды по два брали, — Гордей покачал головой.

— Деды не считали.

Он покачал головой и потащил доску дальше. Через три шага остановился.

— Никита. — Он не обернулся. — Ты это… Ты бы не ходил к нему один.

— Почему?

— Сказывают разное. — Он всё-таки обернулся. — Сказывают, ты у него мёд пил.

Я посмотрел на свои сапоги. Сапоги были старые, с оббитыми носками. Те, чёрные, с ровной строчкой, я тогда не взял, и они остались стоять у крыльца, пока их кто-то не унёс.

— Пил.

— Вот. — Гордей вздохнул. — А люди-то не разбирают. Люди видят: сидел, ел, пил. Значит, снюхался.

У сарая стояла Аксинья с ведром. Она не стала дожидаться, пока я подойду.

— Мёд был?

— Был, — я не стал отводить глаз.

Она поставила ведро на землю.

— Мне-то что, — сказала она. — Только двор считает не по книге, а по языкам.

Я сказал, что ездил за рудой. Она спросила, дал ли.

— Обещал в четверг, и сеять будет на карьере.

Аксинья поглядела на меня, и я увидел, как она считает — не руду, а людей.

— Стало быть, — сказала она, — ты с ним сладился.

— Стало быть, сладился.

— А Митька тебе руки не подаст, — сказала она ровно. — Он ноне целый день про тебя спрашивал. Ему сказали, что ты к подрядчику ушёл. Он лёг и не ест.

Я не нашёл, что ответить. Она взяла ведро и пошла к котлу.

Сарай, где лежал Митька, стоял в стороне, за сушильней. Дверь была притворена, и в щели шёл свет от сальной свечи. Я постоял у двери и не вошёл.

Фрол стоял у печи и смотрел на огонь через гляделку. Он не обернулся, но знал, что я вошёл.

— Был?

— Был. Согласился сеять на карьере. Уголь — по пяти. Свидетель — Гордей.

— Гордей не считает. Пошли Аксинью.

— Бабу в свидетели не пишут.

— Пишут, коли она считает, а ты подписываешь. И уголь по пяти я тебе не подпишу. В книге будет три.

— В книге будет пять. Я за него плачу.

— Из чего?

— Из ничего, — сказал я. — Из брака.

Фрол долго смотрел на меня. Он знал про меня то, чего не знал никто, и это стояло между нами, как чушка на полке.

— Не по чину балуешь, — сказал он наконец и пошёл к мехам.

Ерофей ждал меня у счётного стола. Книга была раскрыта, чернильница отвинчена, и перо он держал наготове, как держат нож.

— Гаврилов. А я тебя ищу.

— Я тут. С утра был у подрядчика, по своей воле.

— По своей. — Ерофей писал и проговаривал написанное — иначе не умел. — «…а о том, зачем подмастерье Гаврилов ходил к Козьме без ведома мастера, надлежит спросить особо».

Он поднял на меня глаза, и я сказал: спрашивай.

— За рудой возчики ходят. — Ерофей положил перо. — А ты ходишь сам. Девятого дня руду не принимал, а подпись есть. Ноне сам идёшь к подрядчику, и он пишет уголь по пяти. Как это назвать?

— Дороговизной.

— Или сговором. Одно слово другого стоит.

— Пиши оба. При свидетелях разберут.

— Разберут. — Он снова взял перо. — Ты умён, Гаврилов. Умных тут не любят, и Козьма не любит. Он тебя приласкал, а после отласкает.

— Это по-доброму?

— Это по-писаному. — Он склонился над книгой.

Воз пришёл в четверг, к обеду, и не два, а три — Козьма прислал лишний, будто из щедрости.

Мокей сидел на переднем и правил сам.

— Принимай, — сказал он. — Козьма Пятый велел кланяться. Сказал: чище не бывает.

Руда была светлая, крупная, и когда я взял горсть, она потянула вниз тяжело, как надобно.

Я бросил её в ковш с водой, помешал и подождал. Вода помутнела рыжим. На дне не легло ничего.

Гордей стоял рядом и смотрел мне в руки.

— Ну?

— Чистая, — сказал я и услышал, как у меня это вышло.

Мы взвесили первый воз при Аксинье. Она держала доску и считала вслух, и счёт у неё шёл ровно, без запинки, как у подьячего не идёт. Сто пудов, и ни пуда лишнего.

Я пересыпал руду в закром и на втором возу взял ещё горсть. Всё то же: тяжёлая, мажется, песку нет.

На третьем возу руда была ниже сортом, мельче, и в ней попадались куски другого цвета. Я взял один. Он был тяжёлый, тяжелее руды, и жёлтый — не рыжий, а жёлтый, как старое золото, с ровными гранями, будто его рубили ножом.

На зуб он не мазался. Он хрустел.

Я положил его на наковальню в кузне и стукнул молотком. Куски разлетелись, и на изломе было зерно — мелкое, блестящее, с синеватым отливом.

Такое я видел. Видел в шихте, которую привозят с серных рудников, и видел в изломе литья, где чугун пошёл пленами.

— Что это? — спросил Гордей.

— Колчедан. Это хуже песку. — Я взял щипцами кусок и сунул в горн, в самый жар. — Гляди.

Кусок зашипел. Из него пошёл дым, жёлтый, редкий, и в кузне стало пахнуть так, что Гордей отшатнулся и прикрыл рот рукавом. Пахло гнилым — будто кто-то разбил тухлое яйцо.

— Господи Исусе, — Гордей перекрестился.

— Песок ест тепло, — сказал я, вынимая кусок. — А это ест железо. Пуд такого в шихте — и ствол пойдёт трещиной, как его ни лей. На пробе лопнет, а до пробы будет лежать и быть годным в книге.

Я выключил кусок из щипцов на пол и наступил на него сапогом.

— Чище не бывает, — сказал Мокей от двери. Он стоял и слушал, и лицо было спокойное.

— Свидетель был?

— Федька-писчик. — Он пожал плечами. — А ты просил от двора. Двор — это кто? Двор — это Козьма.

Он подобрал вожжи.

— Велел сказать: не по нраву что — приезжай сам. Примет.

Возы ушли. На дворе осталось триста пудов руды, из которых сто были с колчеданом, и никто, кроме меня и Гордея, не умел отличить один сорт от другого на глаз.

Я взял из третьего воза пять кусков, завернул в рогожу и понёс в сарай. Там, на полке, рядом с книгой, лежали чушки-свидетели от каждой плавки, малые, с номером, выцарапанным гвоздём. Я положил рогожу рядом с ними и достал книгу.

Ерофей был на дворе, у колодца, и не видел, как я пишу.

Я записал той же рукой, что и всё последнее время, крупно и косо: «Принято у подрядчика Козьмы Пятого руды три воза, триста пудов, при свидетеле Аксинье, вдове мастерового. Сорт первый, без песку, двести пудов. Сорт второй, с колчеданом, сто пудов, куски хранятся при книге, на полке».

Потом подумал и дописал: «Сей сорт в шихту не класть до пробы».

Перо я положил на место и закрыл книгу корешком к себе.

За окном шёл снег, первый в этом году, мокрый и крупный. Он ложился на руду под навесом и таял на ней, и через час руда стала мокрая с одного боку — та самая, что потяжелеет к вечеру на четверть веса.

Гордей вошёл и встал у двери.

— Никита. Митька есть просит.

— Пусть ест.

— Он тебя зовёт.

Я надел шапку.

— Скажи ему, что приду. — Я взял с полки кусок с колчеданом и сунул за пазуху, к обломку, который лежал там с сентября. — И скажи Аксинье, чтоб утром запрягла. Я поеду на карьер.

— К Козьме?

— На карьер, — сказал я. — Там забои. Там люди.

Гордей помолчал.

— Он тебя там ждёт, — сказал он.

Глава 11

Снег выпал в ночь на пятницу и лежал до обеда. Он лежал на угле, на опоках, на крыше сушильного сарая, а у печи стаял, и под ним опять была грязь.

Обоз стоял за воротами третий день: двенадцать саней, конвой, пленные и два свейских ствола на лафетах. Стволы обмотали рогожей и обвязали крест-накрест, как обвязывают образа.

Пленных я насчитал сорок три. Двое умерли в дороге, и их положили под навесом у караулки.

Гордей вышел за ворота, посмотрел на рогожу и перекрестился коротко, как ставят точку.

Я отогнул рогожу на первом лафете. Чугун был тёмный, ровный, без раковин, а у казны стояло клеймо: три короны и под ними две буквы, стёртые до гладкого.

Дульный срез обточили по кругу, без заусениц и вмятин от литника. Я провёл по нему ладонью и достал из-за пазухи кольцо.

— Кольцо не то, — сказали за спиной по-русски.

Он стоял шагах в четырёх, у конвойного, и держал руки перед собой, будто грел. Выше меня на полголовы, худой, в чужом сером кафтане с чужого плеча. Борода рыжая, стрижена неровно. На левой руке не хватало двух пальцев, и он держал её чуть отставя.

— Кольцо аглицкое. — Он кивнул на ствол. — Ствол свейский. Мерка своя.

Он назвался сам, подумав перед словом: Улоф Персон.

— Мастер? — спросил я.

— Лил в Финспонге. Про пальцы он сказал сам, без нажима: на картечи. Своя пушка, свой заряд, свой палец.

Я вставил пробку в дуло. Она прошла до половины и встала. Потом я пошёл к казне и померил там: то же самое.

Сколько было в дуле, он сказал сам: четыре и две пятых, везде. У нас так не выходило, и он это знал — смотрел наши стволы, пока чинили сани. Рябые.

Конвойный тронул его за плечо, и он пошёл к саням.

— Дай. — Шварц стоял у меня за спиной.

Он мерил долго, с трёх концов, и на ствол смотрел дольше, чем нужно для осмотра. Потом вернул кольцо.

— Чисто. Как в аглицкой книге: калибр ровен, зазор в четверть.

В караулке пахло мокрой овчиной. Улоф сидел на лавке, рядом дремал мальчишка лет двенадцати.

— Сын?

— Сосед. Отца убили под Нарвой, мать в обозе. — Он не убрал руку с плеча мальчишки. — Теперь мой.

Шварц сел напротив и стал смотреть в стену. Спросил, сверлил ли он двенадцатифунтовые и по чему узнал.

— Сверлил. — Улоф пожал плечом. — У вас дуло ровное. Иначе не бывает.

— Дай хлеба.

Я сходил к Аксинье и принёс половину ковриги, сала и луковицу. Она дала без счёта, что было на неё не похоже, и сказала только: «Соли возьми».

Улоф ел медленно, разжёвывая до конца, как едят люди, которые год ели не каждый день.

— Что ты хочешь за сверление? — спросил я.

— Сверление дороже хлеба. — Он вытер руки о кафтан. — Взяли под Нарвой, поведут в Москву, а из Москвы куда? В Сибирь, на заводы. Или в Швецию обменяют.

Я сказал, что обмен — это хорошо. Он показал руку: меняются офицерами, а мастеров не меняют — мастеров возят.

Я сказал, что мне девятнадцать. Он кивнул: в двадцать шесть он уже лил сам, а я считаю не по годам.

Улоф встал, и мальчишка сразу проснулся, будто его дёрнули за нитку.

— Наше дело — железо, — сказал он. — Покажи стан.

Конвойный посмотрел на небо и махнул рукой: до темна, а убежит — ему отвечать.

Улоф сказал, что не убежит: идти некуда, у него мальчишка и два пальца.

В сарае было тепло от вчерашней печи и пахло салом и мокрой стружкой.

Улоф обошёл яму, потрогал раму, покачал её ладонью, посмотрел на клин и резец. У верстака стояла скляница, пустая с обеда. Потом он сел на опоку.

Шварц посчитал за него: четырнадцать дней на ствол, сто двадцать оборотов на восьмую, с человеком, который считает.

— С человеком, который устаёт. — Улоф покачал головой.

Улоф взял с пола стружку, повертел и понюхал.

— Синяя. Он не жжёт чугун.

Я придвинул к себе доску и взял уголёк, чтобы он нарисовал, как у них.

Он не стал рисовать сразу. Сидел и смотрел на доску, будто решал, сколько она стоит.

— Стержень.

Шварц поднял палец: глиняный, на трёх подпорках, в сырой форме. Улоф кивнул — всплывает.

— У нас не всплывает. — Улоф взял уголёк. — У нас стержень железный, труба. Концы в гнёзда, гнёзда в опоке. Он висит на пятах, а не лежит на подпорках. Подпорки горят первыми, пяты не горят. Обмотан верёвкой в два слоя, потом глина с навозом, в палец. Глина держит, верёвка выгорает.

Я спросил, зачем верёвка.

— Чугун садится. Пять дюймов на сотую. — Он сжал кулак. — Стержень железный, он не садится, и чугун его рвёт. А верёвка выгорела на волос, и есть куда садиться. Потому второй слой глины рыхлый, он мнётся.

Шварц наклонился над доской: пяты в сыром песке не держат.

— В сухом, — Улоф постучал углём. — Опоку сушат до звону, гнёзда режут потом и ставят кольца, железные. И стержень ведёт, на волос, потому канал в литье делают на четверть уже, и эту четверть снимает сверло.

Он посмотрел на меня.

— Понял? Скажи.

— Вы льёте не в размер, а на стержень. — Я повёл углём по доске. — Припуск снимает сверло.

— Хорошо. Теперь скажи, зачем.

— Затем, что форма врёт всегда. А станок врёт только тогда, когда он плохой.

Он засмеялся коротко, будто кашлянул, и посмотрел на Шварца.

— Он говорит, как наши. — Шварц отвернулся, и это было не в похвалу.

— Что крутится? — спросил Шварц.

— Ствол. — Улоф провёл углём длинную черту. — Ствол в ложе, ложе на станине, станина на камне. Сверло стоит.

Ствол бьёт, и это лечится клином: ложе дубовое, выемка по стволу, клинья в трёх местах. Бьёт — клин подтянул.

— А сверло как идёт?

— По винту. Винт в станине, гайка на салазках, салазки держат вал. Винт повернул — вал пошёл на волос.

Винт крутит колесо в четыре сажени, на воде, шесть оборотов в минуту: фонарь на шесть — тридцать шесть на валу, другой на четыре — сто сорок четыре. Он показал руками, какое.

— В два прохода?

— В два. Черновой на восьмую в глубину, восемь десятых на сторону. Чистовой на волос. После каждого — кольцо и пробка, с трёх концов.

Если дуло ушло в бок, ложе подпирают клином с того боку, где стенка толще, и ведут снова.

Шварц встал и подошёл к яме.

Вал лежит на бабках, втулки бронзовые, в сале. Бронза пушечная: девять меди, одно олово. Чугун в чугун не годится, съест вал за месяц.

— Lager. — Шварц поднял глаза.

— Lager, — Улоф кивнул.

Они посмотрели друг на друга и кивнули, будто сверили часы.

Я стоял над доской и держал уголёк. Двадцать лет я спорил об этом с людьми, которые говорили на трёх языках, и всегда выходило одно: сначала слово, потом железо. Слово у всех было разное, а железо одно, и эти двое сошлись на нём за минуту.

— Станина. — Я постучал углём по доске. — Из чего?

— Чугун. — Улоф посмотрел на меня с удивлением. — Дуб гнётся, камень трескается, чугун стоит. Плита — две сажени на сажень, в две четверти. Лить в земле, землю сушить, как опоку. Потом верх шабрить по линейке, двое суток, двое людей. Двадцать два пуда, на четыре камня.

— И всё это на воде. — Шварц смотрел в доску. — А вода у нас за рекой.

— Вода за рекой — это вал и ремень, — Улоф пожал плечами. — Плохо, когда вода мёрзнет.

— Мёрзнет. Тогда прорубь и человек с пешней: иначе колесо встанет, а с ним и стан.

Я сел на опоку и стал считать на уголке доски.

Канал — сто двадцать дюймов. Черновой проход — четыреста восемьдесят оборотов на дюйм, это пятьдесят семь тысяч шестьсот. Чистовой — девятьсот шестьдесят, это сто пятнадцать тысяч двести. Вместе сто семьдесят две тысячи восемьсот.

При ста сорока четырёх в минуту — тысяча двести минут, двадцать часов чистой работы. С перестановкой клиньев, с обмером и со сменой сверла — три дня.

— Три дня.

Три, если сверло хорошее и человек не пьёт. Четыре, поправил Шварц: сверло будет своё. Улоф согласился.

— Двадцать стволов по четыре — восемьдесят дней. — Я показал на доску. — Воротом — двести сорок.

Шварц медленно выпрямился.

— Восемьдесят.

— Восемьдесят.

Он отошёл и стал лицом к стене, и я слышал, как он дышит.

— Vier Jahre, — сказал он негромко.

Улоф ничего не спросил.

Стан с камнями и с колесом — семь недель, если кузнец есть и чугун есть.

— А если гнать?

— Три недели. — Он посмотрел на мои руки. — Ложе из сырого дуба, станина из первой плавки, втулки точить ночами. Он встанет через три недели и развалится через месяц.

Я взял уголёк и стал писать на доске столбиком: вал, станина, втулки, винт, колесо, ложе, прорубь, верёвки и сало. Потом проставил цены, которые узнал за два месяца. Цены были не мои.

Семь. Четыре с полтиной. Шесть. Восемь. Пятнадцать. Три с полтиной. Четыре. Три — я прочёл это вслух и сложил.

Шварц не понял столбика. Пятьдесят один рубль, я сложил.

Шварц засмеялся.

Смеялся он долго, а потом сел на опоку и закрыл лицо ладонями. Я видел, как у него ходят плечи, и не сразу понял, что это не смех.

Улоф смотрел на него спокойно, как смотрят на чужую погоду.

Сколько у меня, он спросил сам, не дожидаясь. Два рубля в год, и у двора ничего.

— Тогда зачем считал?

— Затем, что цифра есть. Пока она не написана, её нет. А написана — с ней можно идти.

— С цифрой можно идти, — согласился Улоф. — Только недалеко.

Он поднялся и стал застёгивать кафтан.

Я спросил, что он хочет за стан. Он ответил: я пленный. Знаю, скажи цену, — я не отступил.

Он посмотрел на мальчишку, который спал у двери, свернувшись, и на Шварца с закрытым лицом.

— Впиши меня в книгу. Мастером.

— В книгу? — Я не понял. В книгу, с числом и с подписью: свейский мастер, при дворе, у стана. Что ему с того, я не видел.

— Мастеров не отправляют в обоз. Мастера оставляют при деле. — Он сказал это ровно. — У вас книга — закон, я видел. Что в книге, то и есть.

— В книге пишет дьяк.

— Значит, дьяк. — Он кивнул. — Ты достанешь строку, я достану стан.

Он пошёл к двери и в дверях остановился.

— Ещё одно, даром, за хлеб. Ложе ставь на дубовые подкладки, подкладки на камень. И не у двери.

— Почему не у двери?

— Дверь дышит. — Он открыл её, и в сарай пошёл холод. — А железо за ней повторяет.

Фрол пришёл к вечеру. Он посмотрел на доску, потом на меня, и сел на опоку, не снимая шапки.

— Сказывай.

Я сказал: стан, сверлильный, на воде, пятьдесят один рубль. Он снял шапку и положил её на колени.

— Пуд идёт в приёмку по рублю двадцати. — Он пристукнул шапкой по колену. — Пятьдесят рублей — сорок два пуда. Ствол с четвертью.

— Зато остальные девятнадцать будут в срок.

— В срок. — Он накрыл шапку ладонью. — А руда отдельно, печь отдельно, уголь отдельно. Люди стоят, уголь жгут, а я даю деньги на колесо за рекой.

— Меня похвалят за пуды. — Он понизил голос. — Двадцать лет я тут считаю пуды, а не стволы. За пуды отвечаю я, за стволы — дьяк.

Я сел напротив него, на другой конец опоки.

Он назвал, сколько нужно на март, не дожидаясь вопроса: двадцать стволов по тридцать шесть — семьсот двадцать, и ни пуда больше. Лишнее — угар и стружка.

Я сказал: дам двадцать четыре — восемьсот шестьдесят четыре пуда, сверх указа сто сорок четыре.

Он поднял бровь.

— Сверх указа — это уже не мой план, это твой.

— Тогда и стан твой.

Он долго молчал. За стеной в конвое перекликались, и кто-то бил по бревну, сбивая лёд с саней.

Людей он назвал сам: кузнец, плотник, двое на подъём станины, четверо с печи. Плотник на дворе был. Кузнец Ипат — за рекой, не его.

— Он будет мой. За деньги. — Я показал под яму. — И чугун на станину не из партии, а из стружки. Её всё равно переплавлять.

— Стружка — это моя шихта. Я её считал.

— Считай дважды.

Он прошёлся по сараю и на третьем проходе остановился.

— Двадцать рублей. Из приёмных. И не сейчас, а когда встанет.

— Стан встанет к Николе.

— К Николе встанет — тогда и деньги, — он надел шапку обеими руками. — А не встанет — вернёшь стволами.

— У меня нет своих стволов.

— Вот и я про то. — Он посмотрел на меня. — Тогда заклад с тебя. Каморка, стол, жалованье, всё, что у тебя есть от двора. Не дашь двадцать четыре — уйдёшь со двора до первого марта.

Я смотрел на доску. В столбике не хватало четырёх рублей.

— Хорошо.

— И подпись в книге. Что стан — твоя затея и твой ответ.

— Моя.

Фрол постоял, глядя на доску, и спросил:

— А свейца кто тебе даст?

— Дьяк.

— Дьяк бумагу даст. — Он пошёл к двери. — Это разные вещи.

Дьяк сидел в санях, накрытых ковром, и рядом с ним Ерофей с книгой на коленях. Лошади были в пару, и возчик держал их под уздцы.

— Степан Ильич. Стан. — Я положил доску на край саней. — Сверлильный, на воде. Вместо двухсот сорока дней — восемьдесят.

Дьяк читал столбик долго, шевеля губами на цифрах, и вслух повторил: пятьдесят один рубль.

— В указе про стан не писано. — Дьяк не поднял глаз.

— В указе писано двадцать стволов к первому марта. А как я их возьму — не писано.

Ерофей поднял голову, и перо у него остановилось.

— Людей дал Фрол. Двадцать рублей из приёмных, за двадцать четыре ствола.

— Фрол? — Дьяк выпрямился и посмотрел на доску.

В лице у него что-то переменилось: он считал быстро, как считают чужое.

Он сказал: двадцать рублей, а надобно пятьдесят один — где остальное. Пять от Шварца, два моих, четырёх не хватает, мельник сбавит, — я назвал остаток.

— Мельник тебе сбавит, как же.

Он вынул из-под ковра мешочек, посмотрел внутрь и завязал снова.

— Двадцать. Из прогонных. И запишу, что выдано на корм и одежу пленным.

— Это неправда.

— Это расход. — Он посмотрел на меня спокойно. — В книге не ложь, а расход. Ты в книге писал числа, я не мешал. Дай мне писать мои.

Ерофей уже писал.

— «Выдано из прогонных двадцать рублёв на корм и одежу полоняникам, что следуют в Москву».

— И на стан, — сказал я. — Припиши: «и на устроение сверлильного стана при том дворе, по аглицкому образцу». По аглицкому — так спокойнее.

Дьяк смотрел на меня, и я видел, что он понял сразу: и зачем образец, и зачем аглицкий.

— Пиши. — Он махнул Ерофею. — «По аглицкому образцу, что взят со свейских стволов».

На слове «свейских» перо у Ерофея споткнулось.

Я спросил про мастера. Пленный, дьяк убрал мешочек под ковёр: в списке сорок третий.

Мастер. Улоф Персон, лил в Финспонге — я сказал это ровно, как число.

— Впиши его в книгу. Мастером, при дворе.

Дьяк посмотрел на Ерофея, Ерофей на дьяка.

— В списке сорок три. Все следуют в Москву, — Ерофей не поднял головы.

— А в книге будет сорок два.

— Так не пишут.

— Так пишут. В августе в книге дописали, что закладку чинил не я.

Ерофей закрыл книгу.

Дьяк молчал так долго, что возчик тронул лошадей, и они переступили, звякнув.

— К Николину дню. — Он смотрел мимо меня. — Стан к Николину дню. Отписка пойдёт с обозом, а в отписке будет: стан при дворе поставлен, сверление идёт на воде, двадцать стволов будут к сроку.

— Стан к Николе не встанет.

— Встанет. В бумаге встанет.

— А на деле?

— А на деле ты мне дашь ствол к Рождеству. Один, сверленый. — Он поднял палец. — Тогда я в приказе скажу: двадцать будут.

Я считал в уме: до Николы три недели с небольшим, до Рождества — шесть.

— Три недели мало.

— Мне так написали, — он пожал плечами. — Мне не важно, мало или много. Мне важно, чтобы в отписке был срок, а не «вскоре». За «вскоре» бьют по спине.

— С ним мальчишка, двенадцати лет.

— Мальчишка сорок второй. — Ерофей перевернул страницу. — В списке сорок три.

Дьяк посмотрел на восток, где над слободой стояла серая мгла, и сказал возчику:

— Трогай.

Сани взяли, и полозья завизжали по насту. Дьяк обернулся и сказал через плечо:

— Обоз пойдёт в четверг. С утра.

Вечером в сарае горела одна сальная свеча, и от неё на доске лежал жёлтый круг.

Шварц сидел на опоке и держал на коленях тряпку, в которой было что-то тяжёлое.

— На. — Он положил свёрток на доску.

Пять рублей, все серебром, и среди них одна монета, стёртая так, что на ней не было видно ни короны, ни года.

— Это за четыре года. — Он отвёл руку от свёртка. — Я их не тратил. Мне не на что было тратить.

— Иоганн.

— Не надо. — Он поднял руку. — Я не для тебя. Я для стана. Четыре года я точил чужой брак, и если он теперь встанет, пусть встанет и на мои деньги.

— Четырёх не хватает.

— Мельник. Силантий сбавит. — Шварц завернул пустую тряпку. — Только ты ему не говори про муку. Он муку не любит, он мельницу любит.

Я пошёл к караулке.

Улоф сидел на прежнем месте, и мальчишка спал, а Улоф придерживал его голову ладонью, чтобы не сползала к стене.

— Бумаги нет. — Я сел на край лавки.

Он не удивился.

Он спросил, будет ли. Я сказал: дьяк уезжает в четверг, в списке сорок три.

— Сорок два. — Он посмотрел на спящего. — Со мной.

— Сорок два.

Он помолчал и поправил мальчишке воротник.

— Я так и думал. В списке всегда сорок два. В списке никогда не бывает мастера.

— Я пойду к писцу.

— К тому, что с книгой? — Он поднял голову. — Он тебе не даст. Он боится.

— Знаю.

— Тогда зачем идёшь?

— Затем, что до четверга три дня. А стан без тебя — семь недель.

Он усмехнулся и посмотрел на свечу, которая оплывала на сквозняке.

— Бумага, — сказал он. — Сначала бумага. Потом железо.

Я вышел во двор.

Снег шёл снова, мелкий, сухой, и ложился на угольную кучу, и она становилась серой.

Я считал, пока шёл: до четверга три дня, в каждом десять часов светла. В эти тридцать часов надо уложить вал у Ипата, вырезать гнёзда, найти четыре камня и вписать одно слово в книгу.

Слово было дороже вала.

Глава 12

Лёд на Упе стал в ночь на воскресенье. В понедельник по нему уже ходили с пешнями, и вода в проруби курилась.

Колесо в четыре сажени целиком по льду не провезёшь. Разобрать — можно.

Ипат сидел у горна и держал на коленях клещи.

Он спросил про вал: двенадцать сажен, в четыре вершка. Шесть пудов, и гнётся.

— Гнётся, — согласился я. — Потому к тебе и пришёл.

Он положил клещи и вытер руки о фартук, будто это помогало.

— Одним куском не прокую. Три куска, два стыка.

Три стыка, по сажени с концов. Он подумал и поправил: стыки будут слабые.

— Стыки будут в бабках.

Ипат поднял голову и не понял.

— Бабка стоит там, где стык. — Я взял уголёк и провёл черту по полу. — Вал лежит в бабке, бабка держит его в одном месте. Стык в бабке не гнётся, ему некуда.

Провиснет между бабками, и потому четыре бабки на двенадцать сажен: пролёт — три сажени.

— На вершок.

— На два. Пятая в середине.

Ипат считал долго, шевеля губами, и назвал девять рублей. По смете было семь, и смета моя, и семь в ней потому, что кузнец на дворе, а он за рекой.

Ипат засмеялся коротко и без злобы.

— Семь и ведро.

— Ведра нет, есть сало.

— Сало и давай, — он кивнул.

Он взял заказ и не стал спрашивать, зачем. Вместо этого — поставлю ли я свейца к стану. Поставлю.

— Он вал на камне точит. Кованый вал у них — порча.

— Пусть точит. Бабки я всё равно ставлю на стык.

Мельница стояла на протоке. Колесо из-за плетня было видно по половине: четыре сажени в диаметре, дуб, ободья в два ряда.

Силантий начал с пятнадцати. Я стоял на одиннадцати. Колесо дубовое. Ободья дубовые, а спицы гнилые — я смотрел. Одиннадцать — это на слом.

— У тебя вал лопнул в прошлом месяце. — Я не отходил от плетня. — Жернов идёт вперебой, я слышал с того берега.

Идёт, он кивнул, но не сразу.

— Новый вал — три пуда. Отолью.

Отольёшь ли, он переспросил. Вал на мельницу — не ствол.

Силантий долго смотрел на воду.

— Четыре. — Он отвёл глаза от воды. — И колесо за одиннадцать.

— Три и одиннадцать.

— Три с половиной.

— Три, — я показал на бабки. — И я сам поставлю его тебе.

Он ударил пешнёй по льду: в оброк напишет рубль, колесо старое. Пиши одиннадцать, я не стал спорить о слове.

— Тебе-то что?

— Козьма считает оброк по книге. В книге рубль — с тебя рубль, а десять он найдёт у тебя в подполье. В книге одиннадцать — искать нечего.

Силантий снял шапку и почесал под ней: ты мне как родня.

— Я тебе как счёт.

Колесо разобрали за день с Гордеем. Ободья пронумеровали углём, спицы связали в пучки, ступицу положили на отдельные сани.

— Оно круглое. — Гордей перекрестился на первый обод. — Круглое без дела не стоит.

Он крестился на каждый, будто на покойника. Я спросил, чего он. Гордей объяснил: дед его учил, что как колесо снимают, мельник помирает. Я напомнил, что Силантий живой.

Перевозили на двух санях, ободья вязали крест-накрест, как вязали свейские стволы. На середине реки лёд просел, и один обод треснул.

— Треснул, — Гордей обошёл сани кругом и перекрестился. — А если спросят?

— Скажем, так и был. Кто спросит?

Место я выбрал за оврагом, у старого кирпичного пруда: кирпич тут не жгли лет двадцать, но вода держалась и напор был.

— Тут стоять не можно, — Гордей показал на кладку. — Тут кирпич.

— Кирпич и нужен. — Я показал от пруда к сараю. — Вода пойдёт по лотку, лоток в кирпиче, кирпич в глине. Двенадцать сажен.

На лотке мы потеряли два дня. Старый обжиг не держал воду, текло по швам. Трофим велел залить дёгтем, дёготь смыло, и тогда он принёс ведро смолы.

Два дня из двадцати одного. Я считал и молчал.

Колесо собирали на льду, на подмостях, и поднимали воротом: четыре сажени в руках не удержишь. Треснувший обод сел на волос криво, Гордей держал отвес, а я подтягивал клин. К вечеру третьего дня колесо стояло в воде по половину.

Обоз простоял ещё неделю: ждали наст. В приказной избе было нетоплено, дьяк сидел в шубе и поверх шубы держал платок.

— Строку. В книгу: свейский мастер Улоф Персон, при дворе, у стана.

Дьяк положил перо.

Обоз идёт в четверг, он положил перо. В списке сорок три — я это уже слышал.

— В отписке стан. — Я не отводил глаз. — В отписке сверление идёт.

Идёт. Кто сверлит, я спросил.

Дьяк глянул на Ерофея: мастер. Мастера в обозе нет — в обозе пленные. Мастер — пленный.

Дьяк встал и подошёл к окну. На слюде лежал иней, и он потрогал его ногтем.

— Ты меня ловишь на слове.

— Я тебя ловлю на бумаге. — Я положил на стол доску. — Ты написал: стан к Николину дню. К Николину дню стана не будет, если мастера увезут. Стана не будет — отписка будет.

— Отписка будет, а сверление нет. Приедет из приказа человек — посмотрит.

— Такого ещё не посылали.

— Пошлют.

Дьяк молчал. Ерофей перестал писать и сидел с пером у самого носа.

— Чем ответишь? — спросил дьяк.

— Головой.

— Голова у тебя одна, а я тебе уже написал стан и двадцать стволов.

— Тогда рукой. — Я взял перо из его чернильницы. — Пиши, что мастер оставлен на мою поруку. Только Фрола не трогай: он за меня отвечал, больше не будет.

Дьяк смотрел на меня дольше, чем нужно.

Сколько мне лет, он прикинул вслух, как прикидывают цену. Девятнадцать.

— А говоришь, как целовальник.

— Я считаю.

— Все считают. — Он сел. — До Николина дня. Встанет стан — впишу его в книгу мастером. Не встанет — мастер пойдёт с первым обозом, а обозов до весны будет три. И ты пойдёшь со двора.

— До Николы три недели.

— Мне так и надобно. — Он махнул Ерофею. — Пиши.

Ерофей писал вслух, как всегда, и перо скрипело на каждой букве.

— «Свейский мастер Улоф Персон, литейного и сверлильного дела, оставлен при Тульском оружейном дворе у сверлильного стана, на корм, до Николина дня, на поруку подмастерья Никиты Гаврилова».

— И мальчишку.

— Мальчишка сорок второй. Не мастер, — Ерофей не поднял головы.

— При мастере. Пиши.

— «При нём мальчишка Миккель, двенадцати лет, на том же корму».

Дьяк взял лист, посмотрел на просвет и отдал мне.

— Это не книга. Это выпись. В книге будет тогда, когда встанет стан.

В четверг обоз ушёл, и в списке было сорок два. Улоф стоял у ворот и смотрел, как сани выезжают на наст, и Миккель стоял рядом с ним.

Фрол ждал у сарая, с ним Ерофей.

— Порука, — сказал Фрол. — Опять порука.

Моя, я сказал. Твоя — это каморка и стол, Фрол постучал по столу: каморка и стол его.

— Знаю.

Свейца кормить было нечем: своего у меня не было.

— Буду должен.

Фрол повернулся и пошёл вдоль сарая, и я пошёл за ним, потому что говорить с ним надо на ходу.

Сорок семь рублей в железо, он остановился на третьем проходе. Сорок семь — это тридцать девять пудов.

Пуды будут в марте. В марте он будет отвечать в приказной.

— В марте ты будешь отвечать за двадцать пять стволов.

Он остановился: двадцать пять?

Четвёртый рубль — в счёт двадцать пятого.

— Какой четвёртый?

— Тот, что ты дашь завтра. — Я достал доску. — Свинец, кирпич, второй ремень. Четыре рубля.

Фрол взял доску и держал её перед собой, как держат бумагу люди, которые плохо видят.

— Двадцать пять стволов — девятьсот пудов, — сказал он. — Я столько не приму. Приёмка на семьсот двадцать.

Примешь, я сказал. Кто сказал, он переспросил. Ты и сказал: за пуды отвечаю я. Девятьсот пудов — это тоже пуды, и я забрал доску.

Фрол ничего не сказал.

Станину лили в сарае, в яме. Землю сушили, как опоку: жгли уголь в плошках, накрывали рогожей, щупали ладонью.

Гордей ткнул в землю пальцем: сырая. Я велел сушить двое суток. Он сушил и ворчал, что так не делают.

Двадцать два пуда пошли в яму из стружки, и Фрол стоял над печью.

— Это моя шихта. Я её считал.

— Твоя. Считай дважды. — Я подбросил лопату стружки. — Двадцать два пуда в станину, двадцать останется в сарае.

Плита вышла в две сажени на сажень и в две четверти. Верх у неё повели.

— Три шестнадцатых, — Тит приложил линейку. — Ровно как увод в твоём стволе.

— Ровно. — Тит перекрестился: это знак.

— Это усадка. — Я провёл ногтем по плите. — Середина толще, она садится позже. Шабрить.

Шабрили двое суток, двое: Тит и я. Тит работал молча и правильно, и на второй день остановился:

— У меня шестеро. Я под твою книгу не стану, я тебе говорил. Но шабрить буду.

Почему — я спросил. Потому что плита не книга: плиту видно.

Бабки ставили на свинцовые подкладки по месту: подливали свинец, снимали бабку — на подкладке оставался отпечаток плиты.

Втулки вышли из колокола: на Пятницкой треснул старый, и поп Никодим продал его на свечи за три рубля. Ипат ударил по обломку: бронза добрая, девять меди, одно олово. Я спросил, откуда он знает. Он ударил ещё раз: глухо — олово.

Винт не точили, винт ковали. Ипат наварил на квадрат спираль в восемь ниток на дюйм, потом двое суток её опиливали напильником, и Улоф проверял нитку ногтем.

Улоф проверил нитку ногтем: восемь. Восемь, подтвердил я. Червь на шестьдесят: восьмая на шестьдесят — четыреста восьмидесятая доля на оборот.

— Четыреста восемьдесят на дюйм. — Я сверил с доской. — Сходится.

— Считаешь ты, — сказал Улоф. — Ковать будет он. — Он кивнул на Ипата. — Это правильный порядок.

Деньги кончились за два дня до пуска. Ерофей читал вслух, водя пальцем по строкам, и против каждой ставил моё имя.

— «За вал кузнецу Ипату — семь рублёв. За колесо мельнику Силантию — одиннадцать. За колокол с Пятницкой, на бронзу, — три».

— Все три сходятся.

Он дошёл до конца и подвёл черту.

— Пятьдесят три рубля двадцать копеек. Понеже смета была на пятьдесят один, превосходство — два рубля двадцать.

— Пиши: превосходство.

— Я и пишу. — Он поднял глаза. — А откуда двадцать копеек?

— Сало.

— Сало в смете было.

— Сало кончилось.

Ерофей записал сало.

Приход: двадцать от Фрола, двадцать от дьяка, пять от Шварца, четыре от Фрола сверх сметы, два моих, два жалованья вперёд и рубль за кафтан. Кафтан купил кузнец с Пятницкой.

Осталось восемьдесят копеек — на сало для ночной смены.

Пуск назначили на субботу к вечеру, чтобы народ видел. Пришли Трофим, четверо с печи, Гордей, Тит, Шварц, двое конвойных и поп с Пятницкой — посмотреть, на что пошёл колокол.

— Ну, — Трофим кивнул на затвор. — Показывай мельницу.

Я открыл затвор. Вода пошла по лотку, ударила в ободья, и колесо взяло — сначала тяжело, потом ровнее.

Вал пошёл. Ремень на сарае натянулся и запел.

Станок дёрнулся и встал.

Ремень слетел на третьем обороте и хлестнул по стене. Трофим засмеялся первым, и за ним засмеялись с печи.

— Мельницу строил! — сказал он. — А вышла каша.

Шварц не смеялся.

Я надел ремень и открыл снова. Он слетел опять, и на этот раз я увидел: вал бил.

— Бабка, — сказал Улоф.

— Вижу.

Мы замерили: в двух вершках от третьей бабки вал ходил на четверть дюйма.

— Ипат сварил стык на второй сажени. А бабку мы поставили на третьей. Ставил я.

Трофим перестал смеяться и стал смотреть.

Перекапывали ночью, вчетвером: бабку переложили на два аршина ближе к стыку, свинец подлили заново. К утру вал пошёл ровно.

И ствол в ложе повёл.

Кольцо у дула прошло, у казны встало на четверти. Четверть — это много. Это уже не канал, это ложе.

— Ложе резали по чертежу, — сказал Тит. — А ствол литой.

Он был не по чертежу. Он был по литью.

Улоф сел на опоку и смотрел на ствол, как на чужую беду.

— По свинцу надо.

По какому свинцу, спросил Тит. Ствол кладут в ложе, под ствол льют свинец: свинец садится по стволу, а не ствол по свинцу. Он мягкий — потому и сядет.

— Он сядет по стволу. Это и надо.

Улоф поднял голову и посмотрел на меня, потом на ложе.

— У нас так льют под цапфы, — сказал он. — До ложа не додумались.

— Додумались, — сказал я. — Просто ты не видел.

Четыре фунта свинца, два клина с боков, третий сверху. Заливали в ложе, по месту, и свинец шипел на чугуне.

К утру кольцо прошло до казны и встало там, где надо.

И тут вышло третье, о чём я не подумал.

Колесо давало шесть оборотов, когда вся вода шла на него. Днём Силантий открывал затвор на мельницу, и на станок шло три.

— Три, — сказал Улоф. — Это вдвое.

— Вдвое дольше.

— Нет. — Он покачал головой. — Хуже. При трёх оборотах сверло не режет, а трёт. Оно греет ствол.

— Значит, воду брать ночью.

— Мельница ночью мелет? Она мелет, когда везут.

Пошли к Силантию втроём.

— Ночью вода моя.

Ночью он мелет: к Рождеству везут, все везут.

— До Николы ночи мои. После Николы — твои, кроме двух.

— Кроме трёх.

— Кроме двух, и я ставлю тебе второй постав, второй жернов: будешь молоть вдвое.

Силантий думал долго, глядя не на меня, а на мешки.

— До Николы, — сказал он. — А после — три ночи мои.

— Три.

Первую ночь работали восемь часов. Вода шла по лотку ровно, ремень не слетал, сверло брало стружку синюю и мелкую — значит, не жгло.

Миккель сидел на опоке и бросал камешек в горшок за каждую тысячу оборотов.

— Сто сорок четыре в минуту, — сказал я. — Восемь часов — шестьдесят девять тысяч.

В горшке к утру было шестьдесят девять камешков.

Улоф пересчитал их, разложив в ряд на доске.

Сходится, он сказал, — второй раз за ночь. Кто первый — я спросил.

— Я считал в уме. — Он сгрёб камешки в горшок. — Мальчишка врать не станет, у него руки заняты.

Улоф работал так, будто станок стоял тут двадцать лет и был его собственным. Он не торопил: обходил станину, трогал бабку, слушал ремень, уходил к печи греться. Стружку брал на ладонь, дул на неё и показывал Трофиму. К третьей ночи Трофим убирал подачу раньше, чем я успевал сказать.

Письмо он попросил на другую ночь, утром, когда все спали.

Пишу ли я — он поглядел на перо. Пишу.

— Напиши в Финспонг. Жене.

Он сел напротив и стал говорить медленно, будто диктовал не мне, а себе.

— Христин. Так её звать. — Он помолчал. — «Я жив. Рука не болит, только не держит».

— Мелкое, — он пошевелил двумя пальцами, которых не было. — «Крыша над сараем тонка, пусть возьмёт плотника. Из тех денег, что в сундуке, в синем платке».

Сколько там, я спросил.

— Тридцать два риксдалера. — Он сказал это сразу, не задумавшись. — Пусть возьмёт восемь.

Я писал. Он ждал и смотрел, как идёт перо.

— «Мальчишка при мне, сыт. Зовут Миккель, он с нашей улицы, отца убили. Я его не брошу». — Он остановился. — Нет. Это лишнее.

Пусть будет, я сказал. Лишнее, он мотнул головой: она и так будет плакать.

Я держал перо и думал, что чужие письма писать легче, чем свои. Свои я писать не умел.

— Дальше, — сказал он. — «Целую тебя и дочек. Улоф».

Я посушил лист. Он взял его, сложил вчетверо, потом ещё вчетверо и убрал за пазуху.

Пошлю ли — он ждал ответа. Пошлю, с обозом.

— С обозом не пошлёшь. — Он покачал головой. — С обозом — в Москву. В Финспонг — через свейских.

— Тогда оставь у меня.

— Оставлю. — Он вынул лист и положил на доску. — Если меня повезут, отдашь мальчишке. Он отвезёт.

На третью ночь у дверей стоял Митька и смотрел, как Миккель бросает камешки.

— Это чего? — спросил он.

— Обороты, — сказал Миккель.

— Считает? — Митька посмотрел на свою руку. — Я тоже считал. Левой.

— Иди сюда, — сказал я. — Будешь бросать. Левой.

Он сел на опоку рядом с Миккелем и стал бросать. К утру горшок был полон.

На рассвете сверло вышло у казны, и Улоф убрал подачу.

— Кольцо, — сказал он.

Я взял кольцо и пробку. У дула пробка встала на половине. У середины — на половине. У казны — на половине.

Я сел на пол у станины и сидел, пока не затекли ноги.

Шварц стоял у стены и держал в руке пустую тряпку. Он ничего не сказал.

Увод был в одну тридцать вторую дюйма. В пробном стволе было три шестнадцатых.

— Три ночи, — сказал Улоф. — Двадцать стволов — шестьдесят ночей.

— Четырнадцать дней было за один, — Тит усмехнулся.

— Двадцать пять. Семьдесят пять ночей. А до марта восемьдесят пять.

— Восемьдесят пять, — сказал Тит. — И десять в запас. — Он помолчал. — Только заготовок нет. Сверлить нечего.

Трофим подошёл и потрогал станину.

— А если ремень порвётся?

— Сошью.

— А если вода станет?

— Прорубь.

— А если человек…

Он не договорил и посмотрел на сверло.

— Дай я, — сказал он. — Я ворот крутил двадцать лет. Мне бы это.

Николин день был в субботу, и с утра пошёл снег, крупный и мокрый. Дьяк приехал к обеду с Ерофеем и двумя приказными.

Он смотрел, как ствол идёт в ложе, а сверло берёт стружку.

Он прислушался к ремню: идёт? Идёт.

— Пиши, — он кивнул Ерофею.

Ерофей достал книгу.

— «Свейский мастер Улоф Персон…»

— Не так, — сказал дьяк. — «Мастер Улоф Персон, свейской земли, у сверлильного стана, на поруках у подмастерья Никиты Гаврилова, до сроку».

Улоф стоял рядом и слушал.

— Порука, — сказал он потом. — Это верёвка. Она держит, пока тянешь. — Он посмотрел на книгу. — А тянуть будет он. — Он кивнул на дьяка.

Дьяк уехал, Фрол пошёл его провожать. В сарае остались сверло, ремень и запах свинца.

К вечеру поставили опоку. Сверлить было что, а лить нечего.

Печь разожгли в сумерках. Мехи шли на один шов: кожа на левом разошлась у самого гвоздя, и Гордей зашил её сыромятной жилой.

— До утра дотянет, — он затянул жилу.

— До утра.

Фрол вернулся и встал в дверях, не снимая шапки.

— Третью ночь, — сказал он.

— Третью.

— Люди спят стоя.

— Знаю.

— И я знаю. — Он посмотрел на печь. — Лей.

Глава 13

Восьмого декабря стан вертелся третий день.

Колесо в проруби обрастало льдом за ночь, и утром его скалывали ломом. Ремень на фонаре буксовал, его подтягивали вдвоём и подсыпали под него золу, чтобы не скользил. В сверлильном сарае у реки пол был ледяной, и вода на нём стояла лужами.

Стан давал ствол в три дня. Печь — два в неделю.

Я считал это каждое утро, пока шёл от каморки к печи. Двадцать четыре ствола, до первого марта восемьдесят три дня. По два в неделю выходило двадцать три, и один ствол оставался за сроком.

Один ствол. За один ствол бьют по спине так же, как за двадцать.

Двор работал в две смены, и люди спали по четыре часа. Трофим спал стоя, у стены, с открытыми глазами. Митька засыпал над ведром.

— Сушим сутки.

Гордей стоял у опоки с лопатой и не двигался.

— Двое кладено, — сказал он. — Дед клал двое.

— Дед лил в песок, а мы льём в тесто. — Я взял горсть из формы и сжал в кулаке. Комок не рассыпался, песок держал след пальцев. — Видишь?

Сырое, он положил лопату на ребро и вытер руки о фартук: оно, батюшка, так-то, сырое.

— К утру будет сухое. Ставь к лётке, к теплу, и к полуночи придвинь ещё на шаг.

Он не взялся за скобу.

Гордей, я окликнул его. Слышу, он всё-таки взялся за скобу.

— Я тебе одно скажу, и ты не серчай. Форма — она как хлеб. Недопечёшь — не подымешь.

— Подниму. Дай Бог, — он вздохнул.

Он поволок опоку к печи, а я пошёл к стану. Ствол лежал в дубовом ложе, ложе на подкладках, подкладки на камне, и Тит водил сверло по каналу.

Сверло шло туго: чугун садился на кромку, и её отбивали каждые сто оборотов.

— Масла мало. — Тит показал на кромку. — На сале идёт, на масле лучше. Сало кончится через две смены.

— Возьми у Аксиньи. Скажи: на стан, не на кашу. Она запишет.

Он кивнул и не двинулся.

— Что ещё? — я спросил сам.

— Стружка синяя. — Он показал горсть. — Вчера была серая.

— Синяя — хорошо. Синяя значит, что не горит. — Я ссыпал стружку обратно на лоток. — Работай.

Стружка была синяя, и это было единственное, что в тот день шло правильно.

Шварц пришёл в сумерках, посмотрел на опоку и постучал по ней костяшкой: сырая.

— Знаю.

— Тогда зачем я тут?

— Затем, что через шесть часов лить.

Он обошёл форму кругом, потрогал шов, отковырнул глину у пятника и понюхал её.

— Сутки — это не сушка, — сказал он. — Это отсрочка.

— Других суток у меня нет. Три ствола в неделю или ствол за сроком.

— Пиши в книгу, что форма сырая. — Он вытер руку о фартук. — Сам пиши, не я.

Напишу, я кивнул.

Тогда он стоит у лётки — Шварц взял медный прут и взвесил его в руке.

— Не надо.

— Надо. — Он посмотрел на меня. — Если я буду в стороне, ты потом скажешь, что я не смотрел.

Спорить с ним было не о чем. Я поставил его у лётки и поставил рядом Трофима с мокрой рогожей, а сам встал у жёлоба.

К полуночи разошёлся шов на правом мехе. Кожа была мороженая, шов держал плохо, и на третьем часу дутья его разорвало на ладонь.

— Мехи! — крикнул Трофим.

Дутьё упало сразу. Пламя над колошником легло и стало красным, а не белым.

Прошили ремнём, обмазали салом с золой и поставили на рычаг двоих вместо одного. Мех хрипел, но тянул. Чугун в горне сел на палец, и я по цвету видел, что до нужного ему ещё час.

Этот час мы и ждали. Я стоял и считал удары меха, чтобы не считать время.

Через час я ударил по лётке и выбил глину.

Чугун пошёл густо, с искрой, ровной струёй, и это было хорошо. Он заполнил жёлоб и взялся за литник, и в горловине опоки зашипело.

Я стоял над прибылью и смотрел, как поднимается уровень. Шесть пальцев, семь.

Потом из шва, у самого пятника, поднялась белая струйка. Тонкая, ровная, как из щели в печной заслонке.

— Сырая! — крикнул Митька сзади. — Дяденька, сырая!

Я успел повернуть голову. Шварц у лётки не успел отойти.

Хлопнуло негромко, глуше, чем из малой пищали. Из горловины встал пар и лёг назад, по жёлобу, и вместе с паром пошёл чугун.

Он шёл низко и широко, веером. Часть легла на пол, часть на стену, часть на Шварца.

В сарае стало тихо так, что стало слышно, как за стеной вертится колесо и скрипит ремень.

Он не закричал. Он сделал шаг назад и взялся здоровой рукой за правую.

Я бросил прут и побежал.

Пять шагов. Я помню, что считал их.

Взял его за ворот левой рукой. Левая не чувствует с августа, и это было кстати: ворот был мокрый и горячий. Правой взял за плечо, потянул назад, на себя, и он пошёл, потому что ноги ещё держали.

Дверь подпёрло санями с песком. Я ударил по ним ногой, сани не подались, и тогда я потянул его вбок, к боковому прогалу, где стояла кадка с водой.

На снегу он сел сам. Снег под ним зашипел и осел.

Кафтан на нём тлел в трёх местах. Я содрал его вместе с рукавом, рукав остался у меня в руке, и в нём была кожа.

— Lass mich, — сказал он.

— Сиди.

— Lass mich, du — он сказал длинное немецкое слово и закашлялся. — Я стоял. Я стоял правильно.

Правое плечо, рука от кисти до локтя, правая щека и ухо. На кисти кожа сошла вместе с рукавом, под ней было белое, а по краю уже проступало красным.

Я набрал снега и приложил ему к щеке. Он отвёл мою руку.

— Не снегом. Снег жжёт. Воды.

В кадке была вода с ледком, я разбил лёд ковшом.

Митька выскочил за нами с ведром.

— В печь не лей! — крикнул я. — В чугун не лей, паром убьёт. Песок, из ящика, сухой!

Он остановился с ведром на весу и посмотрел на печь, где по полу растекался чугун и уже занялась рогожа у стены.

— Песок! — крикнул я ещё раз, и он побежал.

Гордей и Трофим засыпали рогожу песком, а прогал завесили мокрой рогожей, чтобы не тянуло. Чугун на полу стыл и трескался, от него шёл сизый дым и вонь, как от палёной шерсти.

Шварц сидел в снегу и держал руку на весу, а на ней уже надувались пузыри, один под другим, от кисти к локтю.

Он спросил про пуды.

Я посмотрел на пол и назвал число: сорок один с четвертью.

— Сорок один. — Он считал в уме. — Десять фунтов ушло в пар.

Он говорил ровно, как говорят о чужом.

Аксинья пришла через четверть часа, в шубе поверх платья, с корзиной. В корзине были тряпки, пузырёк и горшок гусиного сала.

— На пол не садись, — сказала она ему. — Застудишь. — И мне: — Держи фонарь выше.

Она сняла с него рубаху, разрезав её по шву ножницами, и посмотрела на руку молча, долго.

Я спросил про известь. Есть, в бане, гашёная, с лета стоит.

— Достань. Ведро воды и горсть извести, размешать и дать отстояться до прозрачного. Потом слить и пополам с льняным маслом.

В рану, она держала пузырёк на весу. На тряпку — не сухую, мокрую. И не отрывай, пока сама не отойдёт.

Аксинья посмотрела на меня, потом на руку: кто так делал?

— Я делал. — Я не стал объяснять про цех и про то, что видел сорок таких рук. — Неси известь.

Она пошла и на ходу велела Митьке принести ещё тряпок и не путаться под ногами.

Гордей стоял у двери и крестился коротко, три раза.

— Печь села. — Он кивнул на кладку. — Ломать надо.

— Ломай.

— К четвергу сложим. — Он помолчал. — Батюшка, а форма-то…

— Форма моя.

Я не про то, он мотнул головой: я про то, что я говорил.

Я посмотрел на него.

— Ты говорил. Я не послушал.

Он кивнул и пошёл ломать лётку.

Фрол пришёл к свету, в шубе нараспашку, будто бежал. Он остановился на пороге, посмотрел на пол, на опоку, на застывший чугун и не сказал ни слова.

— Сорок один пуд. Он повторил: сорок один.

Он обошёл лужу и присел у опоки. Шов разошёлся на два пальца, изнутри песок был чёрный и спёкшийся.

— Сутки? — спросил он, не оборачиваясь.

— Сутки.

— Кладено двое.

— Я велел сутки.

Фрол выпрямился и посмотрел на меня так, как смотрят на цену, которую уже заплатили.

— Немец?

— Живой.

— Рука?

— Правая. Кожа сошла.

Он кивнул, будто я сказал про погоду, и посмотрел в сторону реки, где стоял пустой стан.

Печь — к четвергу, ствол к Рождеству не выходил. Оба срока ему не понравились.

— Выходит. — Он поднял палец. — Мне об этом в приказе писать.

— Тогда пиши, что вышло.

— Я напишу, что вышло. — Он повернулся к двери, где уже стоял Ерофей с книгой под мышкой, в шубе и с чернильницей на поясе. — Пиши.

Ерофей раскрыл книгу на ладони и обмакнул перо.

— Как писать? — Ерофей поднял перо.

— Как было. — Фрол не поднял глаз.

— Понеже форма ставлена по приказу… — Ерофей поднял на меня глаза. — По чьему приказу?

— По моему.

— Так и напишу. «Того ж числа, по упущению мастера Гаврилова, форма ставлена сырая, чугун выбросило из опоки, убытку сорок один пуд десять фунтов». Хорошо?

Фрол смотрел на меня.

— Хорошо.

Ерофей писал долго, выводя буквы, и когда кончил, прочёл вслух всё сначала, целиком, с «понеже» и «того ради».

— Подпиши. — Он придвинул лист.

Я подписал.

— Я за тебя ответил головой, — сказал Фрол, когда Ерофей ушёл греться к караулке. — В сентябре. Помнишь?

Помнил.

— Теперь я в книге вместе с тобой. — Он застегнул шубу. — Мне пудов надобно, не немца. Немец мне не пуды.

Он ушёл, а я стоял над лужей и смотрел, как на чугуне оседает снег, залетевший в открытую дверь.

Я считал, пока он шёл к воротам. Шесть дней — два ствола, семьдесят два пуда, и стан, который я собирал три недели, стоял пустой: точить ему было нечего.

Днём я нашёл у себя на запястье три пузыря, а левая ладонь была чёрная от копоти и целая.

Шварца положили в сарае, на верстаке, под тулупом. Он лежал на спине и смотрел в потолок, где на стропилах висели связки драни.

Вечером я принёс ему известковую воду в горшке и тряпки.

— Сядь.

Он сел сам, не опираясь. Руку держал перед собой, как держат чужую вещь.

Я смачивал тряпку и накладывал, не прижимая. Он не ругался и не отводил глаз, только дышал чаще, когда я доходил до кисти.

Зачем, он спросил, когда я кончил.

— Ты горел.

— Я не горел. Я стоял у лётки, где мне надо стоять. — Он посмотрел на руку. — Ты меня вытащил. Теперь я тебе должен. Этого я не люблю.

— Сочтёмся.

— Чем?

Он поднял руку и подержал её в воздухе.

Я не нашёл, что сказать, и сказал правду.

— Мне нужен мастер.

— Знаю. — Он усмехнулся одним углом рта, другой был обожжён. — Ты за этим и тащил.

— Да.

Он помолчал.

— Хорошо, что не врёшь. Врать тут умеют все, а ты не умеешь.

За стеной ворочали опоку, скрипело железо, и кто-то считал вслух: раз, два, взяли.

— Ты пьёшь третий год, — сказал я.

— Четвёртый.

— Почему?

Он долго молчал, и я думал, что он не ответит.

— В Гарце у меня была печь, — сказал он. — Каменная, на две сажени, с поддувом снизу. Я лил на руднике, у серебра. При мне были два подмастерья и мальчик для угля.

— Потом мне написали бумагу. — Он показал здоровой рукой в сторону, где, наверное, была та бумага. — Пушечный мастер. Дом. Доля с прибыли.

— А на деле?

— На деле дали этот сарай. — Он обвёл его глазами. — Долю с брака. Имя — немец.

Он подтянул тулуп к подбородку и стал смотреть, как Аксинья мешает в горшке.

— Я продал печь, — сказал он. — Думал: два года, и вернусь с деньгами и с именем. Потом думал: четыре. Потом перестал думать, потому что считать стало больно.

— Жена?

— Анна. — Он сказал это ровно, без нажима. — Не поехала. Сказала: там медведи и попы, и я там буду немкой.

— Жива?

— Пишет. — Он помолчал. — Дочь выдана за пекаря. Мне написали об этом в прошлом году, и я две недели не мог понять, чем я недоволен.

— И чем?

— Тем, что пекарь. — Он усмехнулся. — Пекарь, — повторил он, будто пробовал слово на зуб. — У него хлеб встаёт каждое утро, и никто его за это не бьёт.

Я сидел на опоке и слушал, как в печи остывает кладка и щёлкает железо.

— Я пью не от тоски, — сказал он. — Тоску здесь лечат постом. Я пью, чтобы не считать.

— Что считать?

— Всё. — Он закрыл глаза. — Сколько лет. Сколько писем. Сколько пудов я выточил из брака. Трезвый я считаю, и счёт не сходится. Тогда я его пью.

— И сходится?

— Нет. Но не болит.

Он открыл глаза и посмотрел на меня.

— Дай кольцо.

— Какое кольцо?

— Калибр. Он в столе, в тряпке.

Я нашёл его в столе, в тряпке, вместе с пробкой. Он взял его левой рукой и держал на ладони, как держат монету.

— Сорок вторая. — Он поднёс кольцо к глазам. — Что там?

— Ничего. Пузыри и обожжённая кожа.

— Нет. — Он повернул кольцо к свету. — Кромка повела. Видишь? На четверть волоса.

Я посмотрел. Кромка была ровная.

— Не вижу.

— И я не вижу, — сказал он. — Рука помнит. Она говорит: кромка повела.

Он положил кольцо мне в ладонь и закрыл глаза.

Наутро я собрал двор у печи. Кладку разобрали до третьего ряда, чугун вырубили из пода и свалили у стены серой лепёшкой.

— Слушать один раз. — Я обвёл их глазами. — Кто не услышит, пойдёт со двора в тот же день.

Тит поднял голову, Трофим перестал вытирать руки о портки.

— Формы сушим двое суток. Не сутки и не полтора. — Я взял горсть из ящика и сжал в кулаке, потом разжал: комок рассыпался. — На опоке углём число, когда ставили. Кто поставит без числа, форма в заливку не пойдёт.

— А если тепло? — спросил Тит.

Тепло — не сухо: сухое звенит под ногтем, а сырое молчит. Я щёлкнул по сухой опоке, она отозвалась коротко.

Они смотрели на мою руку, а не на опоку, и молчали так, как молчат, когда верят и боятся сразу. За их спинами из разобранной кладки шёл пар, и кирпич на морозе щёлкал, остывая.

— У печи две кадки с водой и ящик с песком. Вода — на огонь и на человека. Песок — на чугун. В чугун воду не лить никогда. Кто забудет, того вынесут.

— Митька-то хотел… — начал Трофим.

— Митька молодец. Крикнул вовремя.

Митька стоял у стены, прижимая к груди пустое ведро, и не улыбнулся.

— Второй выход. — Я показал на заднюю стену. — Прорубить дверь в сажень, к воскресенью. Сани и опоки от двери убрать. Кто ещё раз завалит выход, будет носить их на себе.

Ипат кивнул и записал себе на дощечку.

— У лётки двое, по имени. Первая смена — Гордей и я. Вторая — Трофим и Тит. Смена шесть часов, не восемь. Кто устал, говорит, а не стоит до последнего.

При Фроле, что ли, такое говорить, — Трофим вытер руки о портки.

— При мне. — Я посмотрел на него. — И ещё. Митька к лётке ближе пяти шагов не подходит. Никогда.

— Я не маленький. — Митька выпрямился.

— Ты однорукий. — Я не отвёл глаз. — И это не твоя вина. Пяти шагов.

Он отвернулся и стал смотреть на разобранную печь.

— Мехи прошить ремнём сегодня, — сказал я. — И две шкуры в запас, у Аксиньи в чулане. Кто увидит, что шов пошёл, гасит дутьё и говорит. Не тянет до конца.

— А если чугун уже в горне? — спросил Гордей.

— Тогда льём, но форму держим сухой. — Я обвёл их глазами. — Всё. Работаем.

Аксинья стояла в дверях с доской в руках. Считай, я кивнул ей.

— Форма — три рубля с полтиной. Песок, глина, дрова на сушку. Уголь на плавку — рубль двадцать. — Она посмотрела на доску. — Ствол — сорок один пуд. По восемь копеек за пуд руды и два за уголь — выходит семь с полтиной.

— Восемь. — Я подвинул доску.

— Кто заплатит? — она подняла голову от доски.

— Я.

— У тебя сорок копеек.

Она сказала это без злорадства, просто поставила число рядом с другим числом.

— Найду.

— Найдёшь, — сказала она. — Козьма уже спрашивал, что у нас за дым был.

Вечером приехал сам Козьма.

Он вошёл в сарай в енотовой шубе, в которой ходил ещё в сентябре, и остановился у лужи застывшего чугуна. Двое его людей остались у двери.

— Слышал, пожар.

— Не пожар. Выброс.

Люди целы — он посмотрел на опоку.

— Немец обожжён.

— А. — Он перекрестился. — Немец.

Он обошёл лужу, потрогал носком сапога чугун, будто пробовал его на вес.

Сколько встало, он спросил. Шесть дней, я назвал. Шесть, он покачал головой: а до марта-то немного. Немного, я согласился.

— Я к тебе с чем пришёл. — Он вынул из-за пазухи мешочек и положил на верстак, рядом с горшком известковой воды. — Тут десять рублей. И сорок пудов руды на первый воз, без денег, в счёт.

Я смотрел на мешочек и не брал его.

— За что?

— За беду. — Он развёл руками. — У людей горе, а я рядом стою. Нехорошо.

— Козьма.

— Ну?

— За что?

Он улыбнулся и стал говорить тише, ласковее.

— В книге у вас написано: упущение мастера. — Он кивнул на книгу, лежавшую у Ерофея под мышкой. — А мастера-то два.

— Один. Форму ставил я.

— Форму — ты. — Он согласился легко. — А руда — моя, и в книге за неё твоя рука.

— В книге стоит, что она с колчеданом.

— Вот этого и не надо. — Он поднял палец. — Зачем писать, чего не знаешь? Жёлтые куски — они от забоя, а не от меня. Мне что, за каждый камень отвечать?

Ерофей открыл книгу, не дожидаясь меня, и положил её на верстак. Перо у него уже было в руке и уже обмакнуто.

— Что писать? — спросил он.

— Что руда была добрая, — сказал Козьма. — И что форма — дело мастера. — Он посмотрел на меня и улыбнулся ещё ласковее. — У тебя ведь и так так написано. Я только денег даю.

Мешочек лежал на верстаке, и снег с его сапог уже натёк вокруг маленькой лужей.

Ерофей ждал, держа перо над строкой.